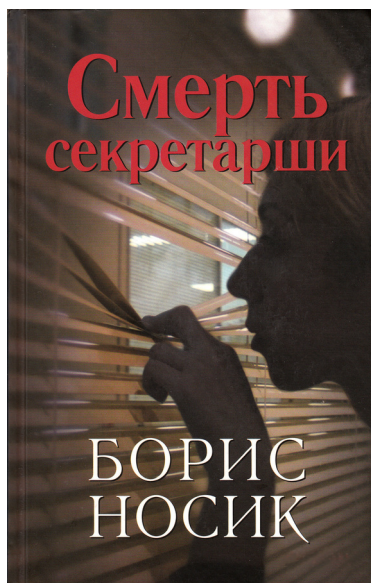




Борис Михайлович Носик

Смерть секретарши (сборник)

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6055474

Борис Носик. Смерть секретарши. Повести: Текст; Москва; 2007
ISBN 978-5-7516-0648-5

Аннотация

Борис Носик известен читателям прежде всего работами об Ахматовой, Модильяни, Набокове, Швейцере и превосходными переводами англоязычных писателей. В книге «Смерть секретарши», куда вошли повести, написанные в разные годы, он предстает в качестве прозаика – тонкого, умного, ироничного и печального, со своим легко узнаваемым и ни на кого не похожим стилем.

Содержание

Востряково	4
Турпоход	41
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Борис Носик

Смерть секретарши

Повести

Востряково

Живые теснят мертвых. Потому что наш прекрасный мир, как известно, создан для живых, а не для мертвых. Потому что это ради нас, живых, разрастается до огромных размеров эта лучшая в мире столица счастья, мой родной город. А грустные обиталища мертвых уменьшаются, исчезают в асфальтово-панельном океане столицы, отступают на дальние окраины города, к последнему рубежу, кольцевой автодороге, за двадцать километров от центра. Сюда не долетает рокот города, но зато здесь стоит немолчный гул автодороги. Мертвые как бы охраняют рубежи города от вторжения тех, кто пока еще не живут в нем и не прописаны, но, без сомнения, стремятся в него, обетованную столицу, где не переводятся насущные блага жизни.

Живые теснят мертвых, торжествуя победу в гуще расцветающей жизни. Мертвые спокойны, потому что время работает на них. И окончательная победа на их стороне.

На южных подступах к городу, за кольцевой, то есть в черте Москвы, раскинулось по обе стороны асфальтовой дороги Востряковское кладбище, в просторечье – Востряково. Если говорить строго научно, то Востряково – это поселок Московской области, на худой конец станция Киевской железной дороги. Однако в этой небольшой повести никаких научных сообщений не содержится, так что у нас Востряково – это просто кладбище, лежащее по обе стороны асфальтового шоссе: направо смешанное, русско-еврейское, а если влево от дороги, и к тому же еще по правую руку от ворот, – то одно только еврейское. О нем, главным образом, и пойдет речь.

До Вострякова теперь доехать совсем просто – от станции метро «Юго-Западная». Можно, конечно, ехать от метро «Вернадская» или от станции Востряково Киевской железной дороги. Не менее удобно ехать от следующей станции, от Солнечной: автобус от Солнечной на юго-запад отходит каждые пять минут, а то и чаще. Однако быстрее, наверное, все же от «Юго-Западной», хоть и не намного, но все же быстрее. А кто же из горожан откажется сэкономить лишние четыре-пять минут? Впрочем, в праздничные и всякие там поминальные дни все равно и на «Юго-Западной» бывает очередь. Но Черняк чаще всего ездил в будни: пять минут автобусом. У ворот он покупал цветы. Торгующие граждане его уже знали, баба Лиза выбегала навстречу из ямы, аж на самое шоссе. Граждане давно поняли, что он и есть самый стоящий покупатель. С одной стороны, он понимал, что все это тщета, суета сует и никто этих цветов не увидит, не все ли равно, какие поставить, к тому же их все равно через полчаса украдут. С другой стороны, без цветов он никогда не ходил, считал, что неудобно, два-три рубля все же надо истратить у ворот, а может, и больше. Иногда на кладбище приходили сестры. Они были семейные, хозяйственные, и если чего покупали, то всегда лучше. Он же покупал, что попадалось, иногда просто оттого, что жаль торгующего, хотя бы и эту вот бабу Лизу, которая стоит тут под забором и ждет покупателя за свои несколько рублей в день, тем более что цветы эти по большей части украдены ею с могилки, может, даже с его могилки, то есть с маминой, принесенные его же сестрами, конечно, уже не та свежесть, что была...

В воротах с Черняком часто здоровалась румяная и цветущая женщина Вера, спрашивала, не надо ли прибрать могилку, хотя уже давно знала, что ему не надо. Не то чтоб жаль

было денег, но он и правда не видел проку в том, чтобы какая-нибудь женщина наводила порядок на маминой могилке, как будто она лучше ихнего знает, какой должен быть порядок на могилке, как она должна выглядеть, Ее могилка.

У ворот близ конторы царило оживление, кого-то привезли новенького на вечное поселение, какие-то люди стоят в очереди за лейкой, за ведром и лопатой, у кого-то дела в контору, и кто-то возмущен чем-то. Черняк здесь всегда спешил свернуть вправо, по тихой аллее, ведущей к Первому новоеврейскому. Здесь еще попадались два-три нищих (Черняк давно заметил, что еврейские нищие кажутся ему как бы ненастоящими), потом старик в ермолке с красными, склеротическими щеками и слуховым аппаратом за ухом, а дальше – никого: аллеи, березы, могилы... Старика этого Черняк помнил еще по самым первым своим востряковским похоронам. Хоронили дедушку, а Черняк был тогда совсем юный студент-первокурсник, и старик этот, ему уже тогда было тыщу лет, вдруг прокричал над зимней могилой что-то пронзительное и непонятное, из которого Черняк разобрал одно слово – «мишпоха», что означает род или семья, как раз проходили это слово по всеобщей истории. Черняк отвернулся тогда и пошел прочь один, среди сугробов, проваливаясь в снег по пояс, лелея свою отчужденность, свою непричастность и к этому непонятному крику, и к этому разделению мертвых по анкетному признаку, свой протест против жалкой участи человека, который только что был живой, насмешливый, деятельный и подвижный, был такой, как все, а потом в смерти оказался вдруг докучливым предметом, который надо зарыть в мерзлую землю и грязь, и притом почему-то непременно вместе с евреями, который оказался вдруг клиентом краснощекого старика, может быть, и правда творящего здесь за небольшую плату молитву, а может, просто морочащего голову родным покойного, потому что никто из этих родных не может ни слова понять, что он там кричит. С тех давних похорон много воды утекло, многое переменялось в жизни Черняка, однако он и сейчас не мог понять, отчего все эти люди, при жизни рьяно боровшиеся с несправедливым разделением на беленьких и черненьких, вдруг соглашались принять как должное это разделение, которое навязывали покойному при жизни. Благо были бы среди них верующие, те, кто верят в воскресение из мертвых, кто хотел бы в Судный день оказаться среди единоверцев, так ведь нет, это были все как есть абсурдные атеисты новейшего времени... И если Черняк даже сейчас не мог понять и принять этого разделения умерших по национальному признаку, то уж тогда, в свои восемнадцать (о, тогда он был самый русский из русских, хотя, собственно говоря, ничего не изменилось и сегодня, просто сегодня он знал, что говорить об этом нехорошо, так же, как неприлично об этом писать, потому что за это хорошо платят, а получать за это деньги неприлично, пристойно только расплачиваться, хотя бы и кровью), тогда он отвернулся и демонстративно пошел в сторону, через сугробы, выбрался на дорогу к машине и стоял там, обсуждая с русским шофером виды на урожай и погоду...

Было тихо, по-осеннему задумчиво и тепло. Черняк узнавал знакомые камни и фамилии (понабрав их по всему свету, евреи привезли их сюда, в Востряково, эти фамилии, специально чтобы утешить его, путешественника и лингвиста: Бердичевский, Коломыйский, Тунис, Палант, Орлов (ясно, бывший Адлер), Сапожников (это ясно), Ломоносов (это еще кто? бывший Тредьяковский?), «писатель Ф.Сито», «раввин московской синагоги», «безутешной Манечке Брук», «универсальное травести», «честный коммунист...»).

Вот, наконец, и поворот, пересохшая колонка и непросыхающая лужа возле нее, мерзость свалки – пластмассовые цветы, банки с присохшей изнутри казенно-голубой краской...

Ого, что-то новое. Как они ухитрились всунуть сюда могилу, прямо на повороте, среди осин, на ничьей земле – огромный портрет вполне молодого мужчины, с не облезшими еще кудрями (впрочем, фотография может быть старая), интересно, где заказывают такие огромные фотографии? Ну да, все ясно, режиссер Хайнацкий, значит, фотографию делали на сту-

дии. 1932 – 1976, то есть всего 44 года жил и творил режиссер Хайнацкий, короткий век у работников киноискусства, портрет, вероятно, здесь временно, потом поставят что-нибудь каменное и вечное, если не забудут вовсе. Может, и не забудут, наверное, режиссер оставил семью, может, даже две или три семьи...

...Черняк мысленно извинился, наступив на уголок чужой могилы, давно уже безымянной – ни камня, ни надписи, протиснулся между решетками и очутился в своем уголке. С удовлетворением отметил, что новую скамейку (шестую по счету) еще не сперли, опустился на нее, прочитал знакомое имя, такое интимное, их, семейное, почему-то преданное здесь гласности. Сказал: «Здравствуй, мамочка!»

Как всегда, Она рада его приходу. Рада и не рада: у него много своих дел, а он опять едет Бог знает в какую даль, он зря беспокоится, и вот – он опять немножко похудел (если б Она только знала, что за этот год выпало на его долю, слава Богу, все произошло уже без Нее, если бы при Ней... А может, Она знает. Если уж Она могла все угадывать про него на таком расстоянии, что Ей эти перемены, эти переезды, это Востряково?). Конечно, Она рада его приходу, должна быть рада, потому что он был для Нее самым близким человеком, он для Нее, Она для него, был и есть, а если Она не может сказать об этом, что с того? Она и тогда, в последний год, после инсульта, почти ничего не говорила, просто они сидели рядом, сидели, и все, но он ощущал, как ему передается Ее воля, Ее тепло, как тяжесть спадает с души и приходит очищение...

Она все понимала, все могла понять – и самые интимные его переживания, и даже сложности авторства, как всегда настаивая при этом, что Она необразованная, что Она ничего не может дать им, образованным, и только получает от них, от своих детей, так много, так много. Однако Ее оценки и Ее советы опускались к ним с какой-то ошеломляюще высокой позиции, до которой они, барахтаясь в теориях и кодексах своего полубразования, все еще не могли добраться, вероятно, никогда уже не доберутся. Она обладала врожденной интеллигентностью, врожденным этическим кодексом и бесконечной добротой...

В его воспоминаниях она всегда была старше его, и только теперь он понял, что Она была много моложе, чем он теперь, была и осталась моложе.

Однажды Она написала ему в армию, как скучала, когда им приходилось расстаться:

«Бывало, маленького отвезу тебя на неделю к бабушке, а через два дня приезжаю забрать, и дедушка говорит: «Эта коза не доверяет нам ребенка», он не мог понять, что хотя мне 19, я скучаю по мальчику...»

Прошлое становилось все менее реальным, но реальными оставались их сегодняшние отношения, они не прервались, они не могли прерваться...

Так что я тебе хотел сказать, ма? Про театр. Это такое все оказалось дерьмо, такая лажа, ты, ма, просто не можешь себе представить. Пока пишешь, еще ничего, но потом, когда они эту пьесу поставят... Они так все измордуют, ма... А когда они измордуют и тебе уже ничего будет не нужно, они заплатят тебе деньги и скажут, чтоб ты вышел кланяться публике. И ты еще должен радоваться, потому что это редкая удача, чтобы поставили, а то, что это не имеет ничего общего с тем, чего ты хотел, о чем писал, – про это как будто забыли. Что делать, ма, вернуться к своей старой работе? Конечно, надо вернуться... Но самое мерзкое, что писать-то я не перестану и, вероятно, буду писать все те же драмы... Сейчас они предлагают мне ехать в какой-то там дом творчества – за их счет, все условия, ничего не надо делать, – гулять, слушать лекции – вдруг напишу еще что-нибудь в этом роде. Ну да, я понимаю, ты за то, чтобы я поехал, потому что там будут кормить и потому что учиться всегда хорошо и полезно, и пригодится, я мог бы не спрашивать, ма, я знаю, что ты скажешь... Ты всегда говорила: учись, пока есть возможность, учись... И я учился. Да что там за возможность была такая: от полочки до полочки всегда не хватало, ты бегала одалживать, а я учился, идиот, учился, продленное детство...

Острой, непроходящей болью защемило под сердцем чувство вины. Как ни обзывай его, как ни объясняй – комплекс или не комплекс, заслуженной или незаслуженной вины, а только болит, ощутимо болит, реально мучает... Или вот тогда, когда я бросил работу, когда оставил вас без помощи, оставил Тебя без помощи – искал свой путь. Ну да, я искал, я нашел. Но ведь главное заключалось в Тебе, любви к Тебе, в помощи Тебе... Вот и все... Теперь кусай локти, бейся головой о железную ограду. О Боже, всемогущий, всемилостивый... Отпусти мне эту боль, этот грех, эту вину...

Черняк поднял голову – перед ним стояли двое. Кто-то из здешних бандитов, кладбищенских работяг, худой, небритый доходяга-старик и толстый, краснолицый юноша, оба навеселе, в общем, уже в норме, однако еще хочется перевыполнить норму, извечное, неукротимое стремление труженика.

– Хозяин! – сказал краснолицый. – Тебе никакую работу сделать не нужно? Глянь – решетка у тебя совсем никуда... Заменить надо. Теперь и узор другой ставят...

– Не надо, – сказал Черняк, страдая от собственной несговорчивости. – Кажется, ничего не надо... Все здесь прекрасно, все как надо, и нечего огораживать...

И тут ему в голову пришла здравая мысль, мудрая и дальновидная и пристойная мысль, выручавшая его к тому же в неловкой ситуации. Он поднял стыдливо опущенные глаза и сказал:

– А что, если удлинить чуть-чуть решетку, вот здесь. Тогда этот промежуток до следующей могилы, пропадающий зазря, войдет в нашу ограду...

– А чего ж, – сразу воспрянув духом, сказал небритый. – Это можно. Тогда у тебя участок будет побольше, ты сможешь цветов насадить или еще чего...

– Да нет... Просто...

– А можешь и просто, – сказал краснолицый. – За свои деньги можешь, за три бумаги мы тебе все сделаем. Можешь и просто...

– Просто – я там лягу, – сказал Черняк убежденно. – Это будет для меня.

– А можешь и лечь. За три-то бумаги...

– Сколько это, три бумаги? – спросил Черняк.

– Три четвертных.

– Семьдесят пять рублей. Хорошо.

Черняк не дал обнять себя, и тогда они дружно попросили аванс – три рубля. Всего три рубля, которые им нужны позарез. Найти их будет нетрудно – Николай Гаврилыч и Валера, Валерий Григорьевич.

«Николай Гаврилыч, Виссарион Григорьевич...» – повторял Черняк, собираясь уходить. Свидание было вконец испорчено. Он снял с березы пиджак и пошел к выходу на аллею.

У режиссерской могилы Черняк увидел женщину. Она сидела на скамеечке, растерянно опустив руки. Еще совсем молодая. И очень красивая. Она подняла взгляд на Черняка. Потом резко отвернулась. Может, смутилась своего неуместного внимания. Черняк подумал, что он, наверно, чуток похож на этого Ш.Хайнацкого, во всяком случае, на того, какой он здесь на портрете. И еще Черняк подумал, что ему рано умирать, потому что на могилу его приходиться будет некому...

У ворот Черняк отметил, что он озабоченно смотрит на часы. Число, месяц, час... И смотрит не потому, что решил высчитать, сколько ему еще осталось суетиться и бегать. А потому, что уже вспомнил о делах. Он усмехнулся. Какие же у тебя дела, у сердечного? Разве ты не купил себе место сегодня? И разве в отпущенные тебе несколько часов, несколько дней, пусть несколько лет у тебя останется не одно-единственное дело – осмыслить и почувствовать то, что с тобой происходит, ощутить каждый миг происходящего? Черняк увидел зеленый огонек и махнул таксисту.

* * *

Валя отвернулась от прохожего, постаралась думать о другом, о своем. О Сене. Сеня. Какой был Сеня... Она вдруг подумала, что этот человек, который прошел, очень похож на покойного Сеню. Такого, какой Сеня был раньше. Правда, не совсем. Сеня был и раньше другой. Он был решительный. Он был энергичный. И его все слушались. Он тебя видел насквозь. И он говорил тебе очень точные слова – и про тебя, и про твою жизнь, и про твое искусство. Он был обаятельный. Море обаяния. Бездна обаяния. Особенно когда он хотел тебя обаять. Особенно вначале – на «Большой любви». А потом уж ему не нужно было. И подлец он был, конечно, как все мужики. Все им мало. Всегда мало. Они не понимают, что ли, что у них у самих мало. Не хватает. Вместо того чтоб подумать о женщине, как с ней сполна расплатиться, они прыгают с места на место, с одной на другую... И что хорошего? Вместо того чтобы сберечь чувство...

Нет, конечно, он был добрый, Сеня. Не злой. И так его было жалко, когда его эта штука скрутила, аж почернел. Уж тогда-то он понял, что такое жена, чтоб туда каждое утро, каждый божий день с бульончиком, в эту его палату, где такой спертый воздух и пахнет смертью.

Гришка на него будет похож. Гришка его уже забыл. Он и раньше-то отца не часто видел, экспедиции, выбор натуры, съемки, то-се... Она теперь вдова. Слово какое страшное, старорежимное, молодая вдова. Повыть, что ли, по-вдовьи? Как в «Большой любви» выла. Вот совпадение. А тогда не думала, не гадала... Надо домой ехать, а то Гришка придет из школы и смоемся, потом не отыщешь. Надо еще зайти спросить, когда будет памятник.

Чудное все же место... Сколько евреев на «Мосфильме» – никогда таких чудных фамилий не слышала. Какие-то здесь, наверно, не те евреи. Или они после смерти такие становятся? Имена тоже такие допотопные: Аре-Лейб-Нисон, Хая-Рэйзл... Вот и Сеня тоже. Оказалось, что он Шимон. Как странно.

Интересно, как этого звали, который прошел. Наверно, все же как-нибудь по-нормальному. Он, пожалуй, Сениных лет. Может, даже помладше.

Валя вышла на аллею, обернулась, хотела взглянуть на Сенину фотографию, но ее уже не видно было из-за кустов.

* * *

Когда Северцев похоронил Любу, он сразу понял, что это полный крах. Только он еще не думал об этом тогда. Это было тогда как горячка. Горячка слез и горя. Настоящая горячка, даже слезы у него были горячие, щеки горели, а в голове был туман.

Он плакал один, плакал вместе с Любиной сестрой, Раей. И они утешали друг друга:

– Ванечка, не плачь!

– Рая... Рая... Как она... Помнишь... Не надо плакать... И я не буду...

Когда боль утихла немного, он понял, что ее смерть была полным крахом для него. Он давно разучился жить сам, своей волей и разумом. Люба была не только красивая и умная, она была сильная, она знала его и всегда знала, что ему делать. Он был как демобилизованный офицер, прослуживший двадцать пять лет в армии, за порогом которой ему чудится неустройство, хаос, катастрофа. Северцев уже ощущал первые признаки катастрофы. Например, он начал больше пить. Он пил до Любы. И только чуть-чуть выпивал при ней, она не допускала его гибели. Теперь некому было его спасти, и у него было оправдание для самого настоящего пьянства. Спасала его пока еще все та же Люба. Он часто приходил на кладбище. И он не мог, просто не решался приносить с собой сюда больше четвертинки. Четвертинку он мог выпить здесь, с нею, за упокой ее души. Она могла бы только одобрить

это, но никак не больше четвертинки, это он твердо помнил и никогда не нанес бы ей этого оскорбления. В конце концов, он был тонкий, интеллигентный человек – это ему тоже внушила Люба, и он придерживался этого заданного ею уровня. У ее могилки он потихонечку распивал свою маленькую и читал. У него было ощущение вечера, проводимого в семье. Жизнь его шла по-человечески, не пропадала зря, когда была жива Люба, и сейчас, подле нее, он оставался этим лучшим Северцевым. Это Люба не давала ему пасть.

В ограде Любиной могилки Северцев чувствовал себя как дома. Он читал, выпивал чуть-чуть, размеренно и неторопливо, вид у него был при этом задумчивый, спокойный и добрый. Таким увидела его однажды Вера, прибиравшая соседнюю могилку («Аркадию Семеновичу Писенсон от родных и близких»). Когда Северцев ушел и от аллеи еще махнул рукой на прощанье своей Любе, Вера даже прослезилась: вот, гляди, бывает же, а говорят, все мужики одним миром мазаны. С тех пор Вера зачастую специально делала крюк, чтобы поглядеть, как он там сидит, этот вежливый, тихий блондин на своем Первом новояврейском, рядом с Писенсоном. Один раз Вера хотела вступить за него и постеснялась – это когда Гаврилыч и Валера к нему пристали насчет решетки. У него была решетка совсем новая, и он, конечно, отказался. Но Гаврилыч уже разглядел маленькую и попросил их угостить. Вот тогда-то Вера и не стерпела, чуть не выскочила из своего укрытия, чтобы прогнать нахалов, – что им эта чекушка, слону дробина, а человеку испортят весь вечер... Однако она все же постеснялась – могут еще Бог вести что подумать, потом будут языки чесать, тут на кладбище народ такой, сразу понесут, а про нее им пока сказать нечего, потому что она этих коблов ни на шаг не подпускает, очень надо, слава Богу, от своего такого же только-только избавилась. Так что она удержалась, не выскочила, и они, конечно, чекушку у этого человека выцыганили, разве ему против них устоять. Раз, два, выжрали и ушли, а человек этот, он тоже стал собираться – испортили ему вечер. Когда он проходил мимо Писенсона, Вера вышла из своей ограды и сказала жалеючи:

– Потревожили они вас. Эх, люди... А может, вам принести бутылочку... Тут продмаг близко... Вы только скажите...

– Нет, нет, не надо, – сказал он. – Так оно и лучше. Жена бы мне тоже не позволила. Это дело плохое.

– Отчего же плохое? – сказала Вера. – Если под настроение, да если немножко, и в компании к тому же. Только мне кажется, что от компаний этих одна беда, ни во что хорошее не втянут, так что и без компании хорошо... Одному...

– Вы так думаете? – спросил Северцев серьезно. – Вы считаете, что в этом ничего такого, слишком уж...

– Конечно, ничего! – воскликнула Вера и взглянула на Северцева с такой добротой и так ласково, что он не вытерпел, отвернулся и, торопливо простившись, заспешил прочь.

Вера долго смотрела ему в спину. Потом повернулась к его ограде и увидела, что Северцев забыл что-то разноцветное на скамеечке. Вера подошла. Это был журнал «Советский экран». Она села и стала читать. На фотографиях здесь были красивые мужчины и женщины, иногда, может, даже и не очень красивые (вон этот совсем на одно лицо с Толей-пьяницей из гранильного цеха), а все равно какие-то не такие, модные и особенные, ни на кого не похожие, хотя на некоторых карточках они и делали вид, как будто они простые работяги или колхозники. А только простые рабочие и колхозники для фотографии себя бы не так держали, понимали, что это все может выйти на люди. Этим же как будто все нипочем, потому что они и были совсем не похожи на работяг. Но на многих фотографиях было очень красиво, и Вера их долго разглядывала. Истории тоже были описаны настоящие, жизненные, как в индийском кино. Вера дочитала журнал и стала разглядывать карточку на памятнике, под которой было написано, что это Любовь Марковна Северцева, тридцатого года рождения: черненькая и очень серьезная женщина, наверно, образованная, судя по всему, жена – вот

таких любят, даже и умрут они, а их все любят, таким почет и почтение, и другая у них, совершенно другая жизнь, как будто на другой земле живут, не как мы небо коптим. Вера заметила, что она завидует покойнице и думает о ней с недобрым чувством. Она подобрала журнал – может, придется отдать потом – и пошла к своему Писенсону, надо еще было подправить кое-чего...

* * *

Бородатый и горбоносый человек трудился в огаде. Он привязывал проволочками к прутьям огады какое-то изображение в четырехугольной рамке и по временам, отойдя на несколько шагов от огады, им любовался.

«Портрет, наверно. Еще один фетишист...» – меланхолически подумал Северцев, проходя мимо, и обернулся. Обернувшись, он задержал свой взгляд на изображении несколько дольше, чем это позволяли приличия и осторожность, потому что бородатый человек уже заметил его любопытство, уже закивал ему ободряюще и вопросительно, иронично и торжественно в одно и то же время: вот, видите, дружок, чем я, взрослый человек, здесь занимаюсь. Это с одной стороны. А с другой: ну и как? Правда ведь неплохо получилось?

«А что получилось-то? Что там у него намалевано?» – в смятении думал Северцев, разглядывая необычную композицию. В рамке была различима крошечная фотография на фоне какого-то пейзажа, а по бокам еще две птички, намалеванные безнадежным любителем, а посередке – ноты.

– Вы, навежно, сгазу узнали эти ноты, – сказал горбоносый человек, сильно и приятно грассируя.

– Нет, простите, пока нет, – сказал Северцев, уже подозревая, что он будет сурово наказан за свою неумеренную любознательность.

– Ну как же, как же! Это замечательная песня. Популярная песня. Пгосто пгекгасная песня, и всякий должен ее знать... – Бородатый запел без слов, все же ухитряясь при этом грассировать: – Лял-ля-ля та-га-гам, та-га-гам... Узнаете?

– Что-то мне... Еще не совсем... – мямлил Северцев.

– С чего начинается Година... Та-га-гам, та-гагам...

– А-а-а, ну конечно. Конечно. – Северцев улыбнулся восторженно, благодарно и уже попятился, откланиваясь, когда человек вдруг спросил:

– А это что, скажите мне, за птица? Узнаете?

– М-м-м... Не совсем.

– Ну, как же, голубчик! Это сигин. Мифическая птица сигин. Сейчас объясню почему. Мою свояченицу звали Циля. Это сестга жены, вы уже, навежно, поняли, потому что сам я исконно русский... Владимир Иванович Пгошин, будем знакомы, доцент института Кгупской, завкафедрой атеизма. Нет, нет, пусть вас это не смущает – то, что свояченицу звали Циля. В тангутском языке пегегласовки «ц» и «с» совершенно обычны. Так что Циля и сигин...

– Она была тангутка?

– Кто? Циля? Нет, она была евгейка, как и моя супгуга, но в то вгемя, когда она умигала в муках, стгашная смегть от миомы, я габотал над диссегтацией о тангутах, в доме твогчества, жена пгиезжала ко мне по втогникам, и вот, когда она умегла...

– Жена?

– Нет, свояченица... Как газ в это вгемя пгекгасная птица-сигин...

Северцеву нестерпимо захотелось выпить.

– Мы еще увидимся, – сказал он доценту. – Я что-то... того...

– Я сгазу это увидел... – сказал доцент. – Вы должны бегать. Бегать не как Гилмог. Не бег гади жизни. А жизнь гади движения... Помните, как это у Магкса?

– Хогошо, – сказал Северцев, начиная грассировать против воли. – В дугой газ. Мне на автобус... Пгощайте, пгофессор...

– Мы еще увидимся, – спокойно сказал доцент и засучил рукава, подступая к могиле свояченицы.

Уже выбравшись на аллею, Северцев услышал его бодрое пение:

– С чего начин-нается Г-година...

Впрочем, Северцеву не сразу удалось добраться до ворот, потому что главная аллея оказалась запружена людьми. В стороне, неподалеку от аллеи, шли похороны, но провожающие не уместились в тесных промежутках между могилами. Они стояли кучками в разных местах и толпились на аллее. Северцеву неудобно было проталкиваться через толпу, и он решил переждать. От могилы доносились женские вскрики и бормотание, однако здесь, в стороне, все было спокойно и чинно. Ровными рядами стояли венки с надписями. «Честному коммунисту, активному общественнику», «Члену партийного бюро», «Начальнику лаборатории диффузных соединений», «Активисту БРИЗ», «Председателю КВЗ». Видно было, что люди, провожавшие в последний путь своего сослуживца, понимали, что в том новом месте, куда он сейчас отправился, ему могут пригодиться все его земные должности и труды (особенно неоплачиваемые, так называемые общественные), весь его земной стаж и все заслуги... Сами эти люди, его сослуживцы, подчиненные и товарищи по разным организациям, испытывали некоторую неловкость по поводу происходящего здесь и потому старались держаться подальше от могилы, от мертвеца и неумеренных надгробных плачей. Эти люди словно бы считали самую смерть и все с ней связанное неким пережитком прошлого, доставшимся нам от царского режима и от темного буржуазного строя, когда медицина была развита слабо, в умах царила религия и на каждом шагу околачивались все эти присяжные поверенные, частные приставы, околоточные, акцизные и другие призраки минувшего. Человек нового общества был создан для счастья, как птица для полета, он молодел с каждым днем (недаром на служебных торжествах он со всей серьезностью пел известную песню: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым») и умирал лишь в порядке недоразумения. Потому самое лучшее, что мог сделать образованный, поистине современный и передовой человек в этой ситуации, – это не замечать происшедший факт смерти и как можно меньше заострять на нем внимание. Потому-то люди, старавшиеся держаться подальше от могилы, говорили между собой о насущных проблемах быстротекущей, но не иссякающей жизни. Северцев, не решавшийся потревожить двух солидных граждан, наглухо загородивших ему проход, стал свидетелем такого диалога, который хотя и не имел внешне отношения к нынешним похоронам, однако самой безотносительностью своей наносил достойный удар как смертельному пережитку, так и ретроградному ритуалу захоронения тела.

– Партбюро у них крепкое, – сказал пожилой мужчина в плаще. – Заворг крепкий. Культсектор сильный. И наглядная агитация поставлена.

– Однако партучеба хромает, – сказал совсем еще молодой, задорный и румяный мужчина в таком же, как старший, длинном плаще. – Четыре кружка по XXV съезду – это курам на смех.

– Да, курам на смех, – подтвердил старший. – Но наглядную со счетов сбрасывать нельзя. Для масс она где-то, по большому счету, важнее. Ну, а с кружками где-то недоглядели...

– Да, да. И где-то недоглядели! – воскликнул молодой.

– Я вот вас соберу, не сейчас еще, в обозримом будущем, – сказал старший, и Северцеву вдруг показалось, что человек этот бессмертен. Он был не просто старший и даже, пожалуй, старый, он был по-настоящему бессмертен. Он еще соберет их в обозримом и необозримом будущем, он наладит им партучебу, поставит наглядную, выберет крепких, изыщет сильных, отсеет слабых, повернет их всех лицом к задачам... Северцеву стало обидно за

себя, завидно, и снова нестерпимо захотелось напиться. Однако он твердо знал, что Люба этого бы не одобрила. Конечно, если б она была жива, не грех было бы ее даже и обмануть разок, с видом на предстоящее раскаяние, восстать против этой жестокости, против ее всевидящего ока, но теперь, когда она была, в сущности, усопшей, во всяком случае в глазах окружающих, нельзя было поступать с ней подобным образом. Этого она не одобрила бы и не одобрит. Северцев знал это наверняка...

* * *

Многолюдные похороны активного партийца задержали в тот день не одного Северцева, но и сидящего человека, чья фамилия была Дробышев. Человек этот, несмотря на фамилию, имел кровную заинтересованность в Первом новоеврейском участке кладбища, ибо здесь были похоронены его отец и друг его детства. В прежние времена он посещал и того и другого очень редко, не чаще чем раз в год, иногда и реже, однако в последние два-три месяца, мучимый своими сомнениями, Дробышев вдруг зачастил на кладбище, словно он искал здесь, как и во многих других знакомых ему местах, ответа на мучившие его вопросы. Дело в том, что Дробышев надумал уехать из Москвы и вообще из этой страны, уехать на Запад, эмигрировать, то есть уехать надолго, а при существующем условии безвозвратности, вероятно, даже навсегда. Это вот «навсегда», а также прочие мысли и сомнения делали исполнение задуманного мучительным для Дробышева, жизнь которого с той самой минуты, как он начал всерьез обсуждать свое решение, стала почти что невыносимой. Он уже больше не мог ни работать, ни путешествовать, ни любить женщин, ни ходить на футбол, а мог только обсуждать и решать без конца эту проблему – уезжать ему или не уезжать, потому что без решения этой проблемы он не мог решиться ни на какое действие, да и всякое действие совершенно лишалось смысла в случае, если он поступит так, а не иначе. За эти месяцы размышления и колебаний Дробышев измотался вконец, а жизнь словно нарочно подсовывала ему ситуации, в которых его психика подвергалась все новым испытаниям. Вот, например, совсем недавно в Монголии...

Но здесь надо отвлечься и сказать то, без чего все прочее, и даже монгольская история, будет непонятно: то, что Дробышев, хотя и имевший какой-то, пусть даже весьма значительный процент еврейской крови, был, по его собственному мнению и по мнению многих окружающих, человек совершенно русский и даже истинно русский¹. Профессией Дробышева являлся русский фольклор, и он сделал еще в совсем юные годы большие успехи в собирании русских песен, сказок и пословиц. Он продолжал заниматься этим во время войны, когда, будучи солдатом, защищал от врагов свою родину, а после войны он избрал очень продуктивную и очень интересную линию работы. Всем известно, что обособленные, оторванные от родной земли сообщества лучше хранят старину, и вот, попробовав однажды собирать русский фольклор среди русских старообрядцев, заброшенных судьбой за рубеж, Дробышев получил неожиданно обильные и желанные результаты. В ходе этой работы он, полувеврейский человек, стал совершенно своим среди русских старообрядцев, щедро открывавших ему запасы своей памяти. Дробышев любил этих людей, любил русскую деревню и, что главное, – беззаветно любил русское слово, русскую речь. У него было накоплено много материала, который ему трудно было печатать по причинам, от него мало зависящим, и вот когда, совсем недавно, зарубежный университет предложил ему вдруг льготные условия, предложил кафедру, жалование, перспективы скорейшего издания собранных им материалов и еще Бог знает что, о чем здесь, в Москве, Дробышев не мог и мечтать, он встал перед необ-

¹ Автор вынужден здесь не критически отослать вас к мнению Дробышева, потому что, не являясь сам по крови совершенно русским, автор не может с уверенностью сказать, что же есть на самом деле человек истинно русский. (Примеч. авт.)

ходимостью принять решение, потому что деловые и нравственные выгоды такого отъезда были несомненны. В конце концов, он жил в первую очередь для дела, для науки, для родной литературы, а научная работа его здесь зашла в последнее время в тупик. Там же... Именно для русской науки, для русского слова намеревался он предпринять столь решительные действия... С другой стороны, как же было ему, всю жизнь считавшему и продолжающему считать себя патриотом, покинуть вдруг все эти пригорки, огорки, косяки, березки и рябины. Все эти вымирающие деревни, где его принимали с такой лаской. Покинуть многочисленных друзей, русских, еврейских и грузинских (надо сказать, что Дробышев был изрядный знаток грузинской поэзии, которую он одно время усердно переводил), друзей, которых он, правда, видел в последнее время не часто, но мог увидеть, когда только захочет. Покинуть, наконец, это мирное кладбище, где лежат его отец, дед и бабушка, где лежит друг детства Мишка, человек, с которым столько было связано, – правда, Мишка скурвился под конец жизни, вконец обнищал духом с этой своей дипломатической карьерой, однако теперь он уже мертв, и Дробышеву вовсе не обязательно из всей их долгой жизни вспоминать именно эти последние десять лет. А отец – о, отец – это и вина, и боль, и кровь от крови... Подрастая, Дробышев, как многие подростки, начал переоценку родителей, и больше всего досталось отцу, который сразу оказался и недостаточно умен, и недостаточно образован, безупречен нравственно и главное – несовременен. Бедняга отец немало пережил унижений за эти пятнадцать – двадцать лет, отделявшие созревание Дробышева от его женитьбы и рождения сына. Вот тут, став мужем, а потом и отцом, Дробышев понял кое-что о взаимоотношениях мужчины и женщины, детей и родителей, нечто такое, что в других цивилизациях (надменно считаемых нами отсталыми) дается ребенку как абсолютное знание, категорический императив... С годами Дробышев все острее ощущал свою вину перед отцом, увы, запоздалую... Как уехать теперь, сделать такой шаг, когда, может быть, совсем уже недалеко до последнего упокоения на этом вот самом кладбище под щедро золотящими землю осенними березами (как человек, подходящий к пятидесяти, Дробышев предпочитал не определять свой срок средней продолжительностью жизни, а твердо и разумно придерживаться того факта, что сроки наши определены Всевышним).

Приходя на кладбище, Дробышев вспоминал обычно не только то, что его связывало с отцом или с Мишкой, но и всю свою жизнь, так тесно и сложно связанную с родиной, с этими вот березками, с невзгодами и радостями страны, с ее песнями, прибаутками, сказками, идиоматическими выражениями, с ее словами, словами, словами... Ну да, слова, слова, слова – потому что слова – это и была на девяносто процентов его жизнь, слова-копья, слова-уроды, слова меткие, убожеские, прекрасные, слова матерные... А вдруг он затоскует невыносимо (что значит – вдруг, наверняка же он затоскует) по этим словам, по вагону электрички, переполненному людьми, которые незаметно для себя и грациозно (как дышат люди или животные) говорят на этом столь досконально знакомом ему языке, что тогда? Да как вообще люди, особенно уже немолодые, могут вдруг покинуть насиженное, знакомое до боли гнездо? Вот хотя бы в той же Монголии...

Совсем недавно Дробышев побывал у русских старообрядцев, больше полувека тому назад осевших в Монголии. Это была обычная экспедиция; привычная работа, когда он входил в среду, знакомился, дружился, а потом, войдя с хозяевами в отношения дружеской доверительности, включал магнитофон... И вот в одной доверительной беседе, после старых припевок, заговоров и частушек, он услышал вдруг разговор о том, что деревня эта скоро опустеет, потому что все русские уезжают из нее на свою малознакомую или вовсе им неизвестную родину – в Россию, в Союз. Осталось тут всего два десятка семей, самые упорные, они знают, что надо ехать, все продавать и ехать, потому что дети уже разъехались, устроились, но они вот все не могут решиться, – посидеть, подождать, еще раз, может, в последний, собрать урожай огурцов, еще раз половить форелей в щедрой здешней реке, знакомой с дет-

ства, еще раз сходить на охоту в родные горы, еще разок поработать в своей кузне, прежде чем продать ее или развалить, еще раз... Подвыпивший мужик вдруг перестал петь и, прослезившись, заговорил о лошадях, о кузнице, даже о соседях-монголах и о соседях-китайцах: прожитые здесь полвека казались ему идиллически безмятежными, а заманчивая городская жизнь в Союзе, в Ангарске, куда уехали дети, пугала неизвестностью... Дробышев выключил микрофон, они забыли на время о песнях, потому что оба пытались понять, как же это вот так бывает, хорошо ли это и как можно...

Дробышев встал, медленно пошел среди могил. Земля и листья пахли осенью, прелью, роскошный ковер листьев разостлан был под ногами – это была она, его сладостная родина, – вдруг там, где-то там они будут пахнуть по-иному, эти листья, земля, осень, и он затоскует нестерпимо, но не сможет приехать сюда, даже на время, как турист, а будет ходить где-нибудь близ границы, выглядывая родные березы...

Маленький человек в шляпе внимательно посмотрел на Дробышева, покачал головой, сказал:

– Это ваш папа там лежит?

– Да. Отец.

– Это хорошо, что вы любите так своего папу. Редко уже кто так навещает папу, как будто сами они никогда не собираются быть папой и не собираются умирать... У вас какие-нибудь еще большие неприятности? Если это, конечно, не секрет...

Дробышев сказал, неожиданно для себя самого:

– Я собираюсь отсюда уехать. В общем, надумал уезжать... Совсем.

– Туда? – Человек странно качнул головой вверх и вбок.

– Может, не совсем туда, но...

– Да, да, я вас понял. Сейчас многие едут туда. И многие не совсем туда. Я так думаю, что это замечательно, уехать туда. Представляете – все кругом будут свои, все евреи. Когда я прихожу сюда, и то мне уже легче – тоже все кругом свои, хотя по большей части и не живые, а там... Вы представляете?

– Нет, – сказал Дробышев надменно. – Не представляю. И честно сказать, меня это мало трогает.

– Вас это мало трогает! – Человечек всплеснул руками. Потом пожал плечами, очень выразительно, и еще покрутил пальцем у виска. – Тогда вы сами не знаете, что вам нужно.

– Может быть... – сказал Дробышев и махнул рукой прощально. – Может быть...

Он шагал прочь все быстрее и быстрее. О чем ему говорить с этим человечком? У них разные проблемы и разные трудности. У каждого из них свои радости. Так сказать, свой кайф. Его кайф на непролазных дорогах Архангельской области, в пустеющих деревнях за самоваром, в заброшенных церквях... Его голгофа в издательском коридоре, в собственной комнате, забитой книгами, после полуночи, в бессонницу.

А кто вообще согнал нас на одно кладбище? Кто хочет навязать нам субкультуру национальной неполноценности и национальной гордости, все эти национально-освободительные страсти, идеи национального объединения? Нет, он, Дробышев, не пойдет у них на поводу, кто бы они ни были, эти люди. Для него существует другое национальное – сокрытые россыпи культуры, золото народного сердца, народной речи... В конце-то концов, сколько веков назад выступил апостол Павел, для которого не было ни иудея, ни эллина...

По пути к воротам Дробышев повторял это смешное «не совсем туда». Когда он летел в Улан-Батор, в самолете было много американских туристов, и он пристально их разглядывал. В его нынешнем раздерганном состоянии каждый из них, казалось, представал кандидатом в его будущие родственники. Мысль эта его пугала. Они казались ему людьми не только совсем иной, но словно бы еще и низшей породы. Хотя они были всего-навсего туристы, состоятельные старухи или дельцы из Калифорнии, он с пристрастием выпрашивал их,

на кой черт они летят в Монголию, что они знают о ламаизме или буддизме... Их темнота представлялась ему почему-то еще более непроглядной, чем та, что окружала его дома. На кой черт эти валенки носятся по свету? И что ему в них? О Боже, что за тщета.

На горе Дробышева, один из них оказался филологом-русистом, эмигрантом послевоенных лет. У него было прочное положение в каком-то университете американского Запада, однако до этого он немало потрудился в поисках выгодного занятия. Он перепробовал все.

– Каждое утро, – сказал он, – каждое утро я вставал себе в шесть часов и подметал картонную фабрику... Да, Америка любит, чтобы человек подметал фабрику на совесть.

Теперь он преподавал русский. Дробышев был в ужасе от его русского и от его филологических познаний. Сперва Дробышев был склонен смотреть на этого грамотея сверху вниз, потом с горечью подумал, что этот человек, так долго подметавший фабричку, там будет иметь тысячу преимуществ перед ним, потому что знает конъюнктуру, знает, что продается, какая нужна филология потребителю, и вообще – закален в борьбе...

Измученный Дробышев сел на скамейку перед странным сундуком, скрывавшим останки раввина московской синагоги. Раввин никуда не ехал. Раввин уже был дома. Интересно, жалел ли он о том, что жизнь его сложилась так, а не иначе?

* * *

Ходорец уныло взглянул на кучу мусора, на голубые железные ограды, поставленные к стене, на тележку с гробом, на черные могильные камни со странными надписями (говорят, они пишут справа налево, как арабы, интересно, отчего же они тогда воюют с арабами?), на камни со скрещенными ладонями – странные, дикие надписи и дикие, некультурные камни. Ну и что же, что оно еврейское, это кладбище, – разве евреи обязательно должны быть такими дикими, слава Богу, уж кого-кого, а ихнего брата он навидался, но в других, в культурных видах и проявлениях, например Аркадий Райкин, Вадим Мулерман, а здесь словно средневековое общество – крики, плач, молитвы...

Ходорец ушел в контору и закрылся у себя в кабинете, чтобы забыть хоть на минуту это могильное окружение, и тут невеселые, даже, можно сказать, горестные мысли обступили его со всех сторон. Жизнь не удавалась, не удалась, все пошло прахом, и ясно, что он зашел в тупик, потому что дальше уж просто некуда. Конечно, он отчасти виноват, что говорить, но все же он был не хуже других, и не так уж он много пил, ну, выпивал, ну, было два-три замечания, и, конечно, с поездкой в Данию он сам себе подпортил, так что вообще, кажется, с выездной работой теперь дело гиблое, но ведь он мог бы и тут работать, не хуже людей – в каком-нибудь приличном месте. Под это же самое сокращение, что и он, пожалуйста, трое ушли в комитет по кино, там и работа непыльная, и сценарии можно писать научиться, нетрудное дело, и актрисы, говорят, сами тебе садятся на нос, а главное – обстановка приличная. Трое из их отдела ушли на радио, хуже, но все-таки учреждение, все свои, и потом, это звучит – редактор, обозреватель. А уж он должен был бы получить что-нибудь получше, тем более с Хоботковым вместе не раз выпивали и обещал, что не выдаст. Сказал, такое найду место, будешь доволен: интересно, чему тут радоваться, чему это быть довольным?

Ходорец выглянул в боковое окно, выходявшее на задворки гранитной мастерской. Пьяные работяги о чем-то спорили: спорили небось, кому бежать в магазин. Один из них, красноносый, небритый, в драном комбинезоне, аж коленку видно, подошел и отправил всех на свои места. «Вот какой им нужен руководитель», – с горечью подумал Ходорец и почувствовал себя кем-то вроде Маленкова, заброшенного на Усть-Каменогорскую ГЭС, или Троцкого в Алма-Ате...

В дверь постучали. Вежливо и настырно.

– Подождете! – крикнул Ходорец и отвернулся. За окном красноносый работяга складывал рубли кучками: интересно, сколько они собираются выжрать водки за рабочий день? Ну хоть здесь-то он не должен наводить порядок, пусть жрут. И вообще, пропади оно все пропадом...

В дверь снова постучали. Ходорец отпер, поспешно вернулся за стол и взял телефонную трубку. Стал медленно набирать номер, первый, что пришел в голову, – свой домашний.

– Газгешите? Позволю себе отнять у вас тги минуты вашего дгагоценного вгемени и поделиться некоторогыми сообгажениями не то чтобы сточного, а, пгаво, небезынтегесного хагактега...

Горбоносый, бородатый, в старомодном полосатом костюме – до чего ж они все же бывают нелепые...

– Газгешите пгегже всего пгедставиться. Пгофессог Пгошин. А точнее, по нашей тег-минологии, доцент института Кгупской. Пгошин Владимирг Иванныч...

Значит, они бывают еще Иваннычи, интересно... Ходорец небрежно-снисходительно указал рукой на стул: посидите, сейчас кончу. Этому шикарному жесту он научился у Хоботкова. Этому. И еще закусывать. К телефону подошел его малолетний сын.

– Олег Владимирович, – официально сказал ему Ходорец. – Я обдумал кое-какие рекомендации... Надеюсь, они пойдут выше. Хорошо. Сообщу вам позднее. Где-то после обеда...

Пизденыш ничего не понял и стал бормотать свое – про жвачку. Где ему Ходорец возьмет жвачку, не в «Интуристе». Мертвяков будет жевать.

Доцент играл куском бороды.

– Та-а-к... Я тоже Владимир Иванович... – улыбнулся Ходорец. И добавил со значением: – Настоящий Владимир Иванович.

Доцент понял шутку и всполошился:

– Я тоже исконно гусский. Новгогодский. Из газночинцев...

– Короче говоря... – твердо кивнул Ходорец и поймал себя на желании сказать «Когоче».

– Когоче говогя... – подхватил доцент. – Я пгишел к выводу, что такое замечательное учгеждение, как ваше, находящееся, можно сказать, в центге внимания общегственности, могло бы в некотором годе выступить инициатогом некоторогых пгоггессивных мегопггятий... Я много газмышлял над этим...

– Вам и книги в руки... – Ходорец выдавил из себя кислую улыбку.

– А почему бы нам, дгажайший Владимирг Иванович, не подвести элктггичество к каждой могильной точке... Вы, вегоятно, помните, как хогонили Швайцегя?

– Что-то не припоминаю, – нахмурился Ходорец.

– Это было в джунглях Экватогиальной Афгики, в Габоне... Почтенный стагец умигал, а его афгиканские сотгудники пгоигггывали для него записи бессмегтного Баха...

– Вы хотите...

– Да! Пгедставьте себе, как это могло быть пгекгасно... Возле надгггобия нашей Циля, моей свояченицы, я мог бы в гозетку включить пгоигггыватель, и тогда записи бессмегтного гения-чудотвогца...

– Я это дело записываю на календаре, – сказал Ходорец нетерпеливо. – Как зовут – Циля?

– Если меня, то Пгошин, Владимирг Иванныч...

– Нет, его?

– А, Бах! Иоганн Себастиан... Вы пгипоминаете, что баховский культ в Евгопе начался, собственно, в девятнадцатом веке, однако Швайцег...

– Войдем в вышестоящие организации. У меня уже тут много накопилось предложений. Вот тут – по вопросам лопат, удобрения, оград и культа... Ваше учтем. В целом планы благоустройства предусматривают. И воду проведем, и лопаты, все будет, дайте время, товарищи. Войдем в вышестоящие, будет... До свиданья!

Сладостно улыбаясь, доцент Прошин отступал к двери. Вся эта белиберда из Баха, Цили и Габона постепенно рассеялась в голове у Ходорца, и осталась, как заноза, нелепая фраза насчет «центра внимания». Почему это они в центре внимания? Почему, скажем, Пятницкое не в центре внимания, Преображенское не в центре внимания или Ваганьковское, где Есенин, или даже Новодевичье, где жена Иосифа Виссарионовича и пресловутый памятник Хрущеву, не в центре внимания, а их Востряковское в центре внимания? Тут простая мысль пришла в голову Ходорцу, и ему стало от этой мысли совсем кисло: да потому, что здесь евреи, здесь сионизм может расцвести махровым цветом, потому что напряженная ситуация, вот что он имел в виду, Прошин. Потому что, вон глянь, никого не выпускают, а евреев выпускают, хотя другим тоже не меньше хочется пожинать плоды конвертируемой валюты... Да, ничего себе, удружил Хоботков местечко бесхлопотное...

В дверь постучали. Громко и робко. Как по крышке гроба.

– Да! Войдите! – крикнул Ходорец в остервенении.

Вошел красноносый гранильщик, как был, небритый, в рваном своем комбинезоне – наглец, хоть бы переделся, прежде чем в кабинет.

Красноносый встал на почтительном расстоянии, заговорил уклончиво:

– Тут вот такое дело, поскольку сегодня день шахтера, а это у нас считается свой праздник, поскольку мы тоже на подземных работах, хотя, конечно, и по другим причинам, как и другие дни тоже отмечаются... В общем, ребята собрались сегодня отметить, и очень, конечно, им бы хотелось, чтоб вы их почтили и, так сказать, для нового знакомства с вами, как бы с рабочим классом...

Ходорец взглянул на него раздевающе, и красноносый запнулся. Взгляду этому Ходорец научился у самого Хоботкова, так что, если бы у этого красноносого была в прошлом хоть одна судимость, он бы и не так сейчас поперхнулся. Кажется, и так все понял. Отдышался. Заговорил снова:

– Вот и я им тоже сказал, что вам это не с руки... Они мне тогда – вот, мол, передай, попроси, чтоб за наше здоровье, вернее, от нашего лица, поскольку все же неудобно, праздник, из уважения к рабочему человеку...

Красноносый сунул что-то под красноезвездную книгу отзывов и стал быстро пятиться к двери, видно, уже не чаял унести ноги.

«Во гадость, – подумал Ходорец. – С кем приходится дело иметь... Трешку свою грязную сунул и думает – купил на корню. Куда я все же попал, вместо Копенгагена...»

Зазвонил телефон. Ходорец долго, мучительно пытаясь сосредоточиться, слушал старушечий лепет:

– С вами говохит секхетах пахткома ЖЭК-15 Базилевич Доха Исаковна... Наша организация насчитывает сохок стахых пахтийцев, усопший товахищ Шпинский был пхедседатель культухной комиссии, член хедколлегии, член пахтбюхо, бессменный дежухный комнаты здоховья и общественной консультации...

– Вот и уморили товарища, – сказал Ходорец. – Рази можно столько?

Старуха замолчала. Видно, она еще не кончила свой перечень и теперь не знала, с какого места начать.

– Ближе к сути вопроса, – сказал Ходорец.

– Семья покойного хотела бы похонить его на Пехвом новоевхейском...

– Все хотят на Первом, – сказал Ходорец. – А кладбище не резиновое. Надо все же иметь сознательность, тем более старым членам партии. Кому-то надо захороняться и на

смешанных участках. Интернационализм надо проявить, товарищи... Тем более сами знаете, что на Первом новоеврейском мест нет... В райком? Это пожалуйста. Можете позвонить, это каждый имеет право, и, если товарищи сочтут возможным, будем изыскивать, тем более есть специальное указание исполкома... Вот так, товарищ, не помню, как вас по отчеству...

«В райком она позвонит, гадина, – подумал Ходорец, вешая трубку. – Самой на кладбище пора, а туда же... До чего все же дикий народ евреи. Пока не возвращаешься, видишь только отдельные вполне человеческие экземпляры, не понимаешь... А тут... – Ходорец вспомнил какое-то ближе к воротам надгробье: – Мирка-Руфь Хасриловна... Действительно правду пишут о сионизме. Они же цепляются за старое – от таких людей чего хочешь можно ждать...»

Ходорец с тоской взглянул на окно. Кладбище пустело. Гранильщики, наверно, давно упились. «А что тут еще делать в таком месте? – подумал Ходорец, честно забывая, что во всех прочих местах города делают то же самое. – Надо вызвать похоронную машину, заехать в универсам и взять бутылку... А на что взять? На кукиш не купишь...»

И тут он вспомнил красноносого. Усмехнулся, брезгливо поднял красную книгу отзывов и предложений. Там и правда лежали деньги. Он угадал – трешки. Но трешек было много. Ходорец считал их весело и небрежно. Насчитал сорок штук.

Это уже было кое-что. Вторая зарплата. Может, Хоботков и правду говорил. А Копенгаген подождет. Копенгаген от нас никуда не денется. С этим делом никто не знает куда и когда. А тут он пока на чистом воздухе прокантуется...

Ходорец вышел на крыльцо, деловито махнул шоферу похоронной машины.

* * *

В воскресенье Северцев поехал на кладбище с сыном. Восемилетний Аркаша был до удивления похож на Любу, и это было естественно. Иначе и не могло случиться в их браке, где Люба была главная. Сын был похож на мать, больше всех любил мать, говорил, как она, и даже с Северцевым держался панибратски-снисходительно, как Люба. И хотя это было естественно и объяснимо, Северцеву все же иногда становилось обидно. Он так долго мечтал об этом мальчике, своем будущем друге и будущем союзнике, продолжении и новом воплощении себя самого в другом существе.

Как ни странно, но именно теперь, после Любиной смерти, Северцев больше, чем когда бы то ни было, ощущал, как права была платоновская Диотима, ощущал, что это его стремление к чадородию было лишь внутренним, неукротимым исканием вечной памяти, prolongation себя на земле, а вовсе не творческим порывом к созданию чада по образу своему и подобию. С нежностью отмечая, что мальчик привязывается к нему все больше, Северцев замечал и то, что он все больше забывает мать, и к сердцу его подступала горечь: человеческое памятование было иллюзией, оно было бессильно, ведь и сам человек был так слаб, переменчив, он был смертен. Мудрецы понимали это, смеялись над желанием слабого человека найти опору в близком существе:

«До чего мы нелепы с нашим желанием найти опору в себе подобных! Такие же ничтожные, такие же бессильные, как мы, они нам не помогут: в смертный свой час человек одинок. Значит, и жить ему надобно так, словно он один на свете...»

Мудрецы смеялись над слабостью мужчины, над его отцовской гордостью, выбивали из-под его ног шаткую подпорку, чтобы он встал босой на холодную землю и, может быть, устоял:

«”Сыновья – мои, богатство – мое”, – так мучается глупец. Он ведь сам не принадлежит себе. Откуда же сыновья? Откуда богатство?»

Мудрецы учили бежать привязанностей, освобождаться от желаний. Они предупреждали, угрожали: человека, помешавшегося на детях и скоте, исполненного желаний, похищает смерть, как наводнение – спящую деревню...

У Северцева не было ни скота, ни богатств. Но у него был Аркаша, и он чувствовал себя связанным по рукам и по ногам, беззащитным, открытым любому горю...

Аркаша вышагивал позади отца, не ведая обо всех этих сложностях. Нет, он, конечно, сознавал свою роль в жизни отца, однако использовал это знание односторонне, чисто утилитарно. Он уже усвоил откуда-то (и Северцев ломал голову, откуда же – от матери-идеалистки, от бабушки-комиссарши, от соучеников-оболтусов?), что деньги являются мерилем полноты жизни, и во время редких совместных выходов с отцом старался жить как можно полнее. Возможности его (впрочем, как и возможности старшего Северцева) были пока довольно ограничены – ну, скажем, путешествие до кладбища на такси...

Неподалеку от Любиной ограды они слышали надрывный крик. Это кричал над чьей-то могилой краснолицый старик в ермолке, со слуховым аппаратом за ухом. Считалось, что его, такого старого, опытного и глухого, еврейский Бог должен выслушать в первую очередь.

Мальчик как зачарованный смотрел в рот старику. Глядя на прелестную мордашку сына, его полуоткрытые губы и его глаза, расширенные вниманием, Северцев думал о том, что Люба, будь у нее малейший повод, непременно пригласила бы старика покричать над чьей-нибудь могилой на этом малопонятном (для нее тоже) еврейском языке. Дело в том, что в последние годы, следуя, как, впрочем, и всегда, новейшим побуждениям передовой мысли, Люба сменила увлечение брахманизмом и буддизмом на увлечение иудаизмом. Вероятно, она поняла в этом иудаизме так же мало, как в свое время в брахманизме, однако это все же внесло в их дом новые идеи, новые слова и симпатии: она была все-таки неукротимая искательница модных идей и далеко спрятанных истин. Северцев, умиляясь, так и звал ее в письмах – «моя искательница истин». Аркаше это последнее увлечение стоило имени – если бы не новое увлечение, Северцев, конечно, выхлопотал бы ему что-нибудь более благозвучное, а так пришлось выбирать лишь между Ароном и Аркадием. В начальный момент каждого нового увлечения Люба бывала непреклонной, и Северцев, как всегда, сдался: Аркаша так Аркаша, хоть не Ароша, и то ладно.

– Хочешь, чтобы он покричал над мамой? – спросил Северцев, ловя прихоти сына.

– А сколько это будет стоить? – спросил ребенок, и Северцев снова отметил этот возрастной, а может, все же и наследственный меркантилизм.

– Осилит, – сказал Северцев и сделал знак старику, прятавшему гонорар куда-то под пальто и бесчисленные душегрейки.

– Как ее зовут? – спросил старик, кивая на портрет Любы, и добавил: – А шейне мейделе...

– Люба, – сказал Северцев, и голос его дрогнул.

– Любовь Марковна, – отчетливо поправил Аркаша.

Старик закричал. Северцев думал о том, что, может быть, Люба была права, как всегда права. По-своему права. Откуда-то из пустыни, через тысячелетия, эти бережливые люди донесли свой крик, надрывную жалобу пастухов. Вот так, наверно, кричал Иов на своем гноище.

«Нет мне мира, нет покоя, нет отрады: постигло несчастье.

Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня.

На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком?

Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются как вода.

Опротивела душе моей жизнь моя...»

Старик замолчал. Северцев протянул ему пятерку и сказал: «Спасибо». Аркаша удовлетворенно кивнул, но отметил:

– Тот дядька дал ему два рубля, я видел...
– Присядем, сынок, – сказал Северцев.

* * *

Черняк медленно шел по дорожке. Он вспомнил, как однажды позвонил матери из командировки и услышал чужой, странный, хрипло-пискливый голос.

– Это я. Это же я! – настаивала мать. – У меня голос пропал от простуды. Разве ты не узнаешь? Это я...

Черняк ходил обеспокоенный по чужому городу и вечером позвонил снова... Это был не ее голос. Это была не она. Потом, еще через несколько лет, он увидел ее мертвую, в больничном морге. Она лежала недвижная, успокоенная, холодная. Дыхание, дух, душа покинули ее. Тело отталкивало холодностью, резиновой вязкостью и твердостью. Это было не ее тело. Это была не Она...

Плачу и рыдаю,
егда помышляю смерть
и вижу по образу и подобию созданную нашу красоту, —
безобразну и безсловесну,
не имущу вида.

В последнюю ночь он помогал медсестре обтирать ее тело спиртом – от пролежней – и слезно умилялся красоте этого тела. Она была жива. И вот оно стало чужим, совершенно другим. Тело человека – устроенность его целого, загадочное и прекрасное вместилище его души... Ее души. Ее прекрасной души...

У режиссерской могилы Черняк увидел пестрое сборище не по-нашему одетых людей и обошел стороной. Он не хотел отрываться от матери, Она была с ним здесь сегодня. Значит, все же случается так: удивительная доброта живет после смерти. И живет память. Все его друзья говорят ему об этом при встрече: «Помню твою маму». Не то чтобы это меняло их жизнь, учило чему-нибудь. Это ведь и на его собственную жизнь не накладывает существенного отпечатка: он тот же, что всегда, во всем блеске своих слабостей и пороков. И все же Она живет в его мире, в их мире, а может быть, это он, Черняк, переселяется мало-помалу в Ее мир, это большая честь для него – жить в Ее мире, в мире таких, как Она. Конечно, ни одна существующая в мире теория или вера не дозволит, чтобы он последовал за Ней после смерти – слишком по-разному жили они, – но хотя бы теперь, хотя бы отчасти.

Черняк думал о своей нынешней жизни, о своих метаниях, своем беспутстве, и покаянные стихи приходили ему на ум, растравляя печаль:

«Не смею же взирати на небо, токмо молюся, глаголя; даждь ми, Господи, ум, да плачуся дел моих горько...

Мати Божия Пречистая, воззри на мя, грешного, и от сети диаволи избави мя, и на путь покаяния настави мя, да плачуся дел моих горько».

Сейчас... Сейчас станет легче... Ради этого облегчения и растравлял он себя в лукавстве своем, в вечном своем цеплянии за радость и легкость пути. Но уже недалеко, недолго – вот недавно было тридцать, потом сорок, а тут, совсем близко, пятьдесят.

«Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей...»

«От многих моих грехов немоществует тело, немоществует и душа моя: к тебе прибегаю, благодатней, надежде ненадежных, ты мне помози!»

Черняк тихо плакал, вцепившись в решетку. Пришло облегчение... Он вспомнил материнское письмо. О том, что Она сидела сегодня в гостях и не могла дожидаться конца: ско-

рей бы прийти домой и написать ему. Оно было с ним, это письмо. Может, и Она существует где-то рядом, нет, не здесь, не в Вострякове, где железные решетки, и пластмассовый мусор цветов, и камни, и почему-то Ее имя на камне... Нет, где-нибудь еще ближе к нему, на пустых зимних дачах Подмосковья или в теплой долине Фирюзы, где он работает и дремлет на солнце, в кишлаках Таджикистана...

Она была везде с ним, они были рядом, и различие между ними, расстояние между ними стиралось и таяло в этом мире привязанности и воспоминаний...

Черняк краем обошел веселое многолюдье режиссерской могилы, подошел к воротам. Красивая, одетая с изысканной небрежностью женщина обогнала его, махнула таксисту. Она смахнула слезу, погляделась в маленькое зеркальце, умело хлопнула дверью. Потом пристально взглянула на Черняка. Черняк подумал, что он мог бы попроситься в ту же машину до метро или до центра, а такое путешествие – достаточный повод для знакомства. И, поймав себя на этой мысли, он понял, что Обращение опять не состоялось. Он был здесь, в ничтожной суеде желаний, Она – там. Черняк обнял железный столб у стоянки и снова заплакал.

* * *

Они славно поработали сегодня, и они заслужили выпивку. Режиссер это признал, а директор это знал заранее, на то он и директор, выделил четвертак, помреж собрал еще по рваному и сгонял в ближайший универсам за горючим. Так что когда режиссер крикнул: «Благодарю вас! На сегодня все!» – у них уже сервирован был походный стол, и все выпили – так дружно и славно, что дорогой захотелось еще, и тут кто-то вспомнил Сеню Хайнацкого, который начинал эту картину, а они ее уже вот-вот кончат, скоро конец, все. Кто вспомнил первый, можно догадаться – Динка вспомнила, костюмерша, и посмотрела со значением на Жанну, главную героиню, и та, конечно, сразу подала голос. «Ой, братцы, как же мы так...» – сказала, как положено, с чувством, с надрывом, по системе Станиславского, и очень подружески, так что до последнего осветителя дошло – что надо, мол, ценить свой труд и своих товарищей по работе, всех и каждого, если мы не оценим, то кто ж еще нас ценить будет. Динка вспомнила, потому что она его много лет любила, Хайнацкого, бесконечный у нее был роман, длиннее всех его браков, ну, если и не всех, то последних двух – уж точно, а вспомнила она, как часто его вспоминала, и еще потому, что они выехали на кольцевую дорогу, куда выходит и его еврейское кладбище. И на Жанку она тоже посмотрела не зря: Жанка была последняя пассия Хайнацкого, уже после жены, при последней жене, Жанку он и вытянул на главную роль, уж что она там была за актриса, Бог ей судья, а теперь она, конечно, дай время, перейдет по наследству к нынешнему режиссеру, к которому перешла и картина, раньше-то он выше второго не тянул – все это Динке было понятно и заранее известно, потому что она уже давно работала в кино, она была костюмерша дай Бог, она ни к кому не переходила по наследству, она просто любила этого Сеню Хайнацкого много лет, все знают, как она его любила, как оберегала от всех неприятностей, как бегала в больницу, как убивалась...

Режиссер поддержал женское предложение, еще бы ему не поддержать – за спиной Хайнацкого он держался, его именем картину получил, первую в своей жизни картину, теперь что не получится, свалит на покойного, а получится – и объяснять не надо, все ордена ему... Они еще раз заглянули в универсам, а потом нагрянули всей кодлой на тихое это кладбище в его осеннем золоте – только тут осень заметили, а там была не природа, там натура была, а здесь вот заметили осень, и при этом подумали многие, ощутив опустошающую усталость этого дня, еще усугубленную скромной выпивкой: вот, мол, лежит режиссер споккойно, не надо больше психовать, что осветители пьяные, расход-перерасход пленки, то-се, пятое, десятое, двадцать пятое... У могилы разлили еще по стаканам, выпили быстро, стали

говорить речи – сперва коротенькую режиссер, а потом уж длинные и вовсе бесконечные – актеры, про жизнь для искусства, по большому счету и так далее, только слушая...

Говорили также понемногу операторы; ассистенты всех видов про то, как Сеня умел строить кадр, как он чувствовал, что кино, а что не кино, как он умел заставить актера работать, все по большому счету, по бреду и еще по чему-то, что нельзя выразить словами, а только в пластике, в действии и, конечно, в пленке, в черно-белой Шосткинского завода и еще в цветной, которую проявляют месяцами, так что снимаешь вслепую, не видя материала, а потом как на прошлом фильме, на «Большой любви», все же вот подобрали, помонтировали, и получилось кино, не гениальное, конечно, а все же не стыдное, и это уже само по себе гениально...

Директор захмелел, сидел, прощупывал себе печень, думал; что и он может не сегодня-завтра отправиться вслед за этим обормотом Хайнацким, все под Богом ходим, там не разбирают – обормот не обормот. А Динка сидела сбоку на скамеечке и тихо плакала, гримерши ей знай подливали, уж чего-чего, а выпить она могла.

Жанна, всем этим скоро наскучив, побрела между могилами и вдруг увидела издали, как стоит, скрючившись над решеткой, молодой черноволосый мужчина, один среди могил и берез – плечи его вздрагивают, просто так, без видимой причины и системы Станиславского: от этого зрелища ей вдруг стало мучительно страшно, как будто она подошла и заглянула вниз, в бездонную бездну.

* * *

Хотелось глядеть еще и еще, хотя нужно было повернуться и бежать прочь, но не слушались ноги, и тут кто-то нежно тронул ее за плечо: это был Гарик, режиссер, бывший второй, а ныне полновластный, все же с его стороны было порядочно, что он, когда пришел, не стал пихать свою Наталью на эту роль, не стал ужимать роль, а мог бы, конечно, вообще-то, он был парень ничего, приставал, конечно, помаленьку, но кто же из них не пристаёт? Жанна его пока держала на расстоянии, а тут вдруг так страшно стало, уткнулась ему в грудь, и он так спокойно, уверенно стал гладить ее по спине, целовать в шею, в уши, и она обмякла совсем, плюнула на все, к тому же день такой выдался, и выпивка, а он уже добрался до трусиков, забрал ее всю куда-то к себе под плащ, прижал к решетке, она еще успела подумать, что тоже, гляди, умеет, большой специалист, киношный профессионал, а потом уж больше ничего не думала, даже про группу не думала, что глядят, вроде бы укрыта под плащом, и нет ее, ничего нет... А только все скоро кончилось, он что-то залепетал, стал заправлять рубаху, отошел мочиться, а она вдруг увидела березы в мелких золотых медальках, красные цветы на могиле, сиротливый кустарник, вспомнила, что это же кладбище и что они приехали навещать Хайнацкого, своего гения, просто как добрые коллеги, собратья по искусству... Она второпях поправила юбочку, трусы и побежала прочь между могилами, цепляя плащом за ограды, натыкая листву на острый каблук, размазывая по щекам слезы и грим. Гарик что-то крикнул ей вслед, а что, она уже не слышала, еще к ней на пустой аллее приставал какой-то краснорожий старик со слуховым аппаратом за ухом, и еще какой-то мужчина посмотрел на нее пронзительно, когда она садилась в такси. Она хлопнула дверцей и вдруг увидела, что мужчина этот отвернулся, обнял столб и плечи у него стали вздрагивать, как у того, что был возле могилы, – да что они все тут, посходили с ума, что ли?

– Скорей! – сказала она шефу. – К метро.

– Тут дело недолгое, – сказал таксист, трогая. – А дальше куда?

– А дальше? – она пошарила в сумочке и добавила спокойно: – А дальше денег нет.

* * *

Скамейку опять сперли. Черняк был уверен, что спер ее тот самый дядя Вася-скамеечник, который ее и врыл. Похоже, что врыть и вырыть старую скамейку дяде Васе было много легче, чем изготовить новую. Вначале Черняк возмущался, а потом смирился с дополнительным расходом – ну и Бог с ним, четыре-пять скамеек в год, лишние полсотни. Когда остыл, он нашел в этом даже утешительную сторону – дядя Вася экономил лес, оберегал его от истребления, вот бы еще газеты на всей земле перестали печатать...

Черняк теперь вообще искал примирения с существующим порядком вещей, с неизбежностью, и воспоминание о трепетной материнской чувствительности приводило его в ужас: Она не выносила чужой боли, Она постоянно боялась за детей, а они боялись за Нее (скорее, конечно, теоретически, не обременяя себя реальными заботами). Они жили при Ней в этой непримиренности с несчастьем и страданием, между тем древняя мудрость гласила, что Человек рожден на муки и страдания, обречен на смерть, от рождения проклят. Откуда же этот Ее трепет, эта открытость чужому несчастью, этот вечный страх, исступленная попытка ликвидировать любую боль в этом царстве боли? Перечитывая Ее письма, Черняк и теперь страдал из-за Ее вечного беспокойства. (Она беспокоилась за кого-нибудь из них, их детей, за их друзей, которые болели, разводились, хандрили, голодали и еще Бог знает что, беспокоилась за чьих-то сослуживцев, за их будущее.) Читая, он почти физически ощущал, как это вечное беспокойство изнашивает Ее сердце, бесконечно доброе и чувствительное... Черняк хотел бы обрести спокойствие, примириться со смертью, с неизбежностью страдания, с неизбежностью от века известных человечеству трагедий – трагедии умирания тела, трагедии умирания любви, трагедии познания... Ему еще предстояло примириться с человеческим несовершенством, прежде всего с собственным несовершенством, потом с убожеством женщины. Может быть, мать поможет ему сейчас, после дрызг недавнего развода, поможет ему вернуться к иллюзиям, как помогала всегда при жизни. Ведь раз жила на свете Она, значит, есть где-то и другие, похожие на Нее женщины. А может, все женщины при определенной системе отношений бывают такими, какой стала год назад его бывшая жена... Или наоборот, каждая может подняться до Ее уровня.

Пробираясь к себе, Черняк загляделся на фотографию молодой женщины. Строгое, но доброе лицо, умное и, без сомнения, красивое. Собственно, ему не нравились такие лица. Он вырос в России, ему (как и Ей, впрочем) нравились женщины курносые, широколицые, чуть простоватые, а эта была какая-то уж очень восточная. Но, без сомнения, умная, добрая, пожалуй, даже снисходительно-мягкая... Любовь Марковна Северцева. Почему Северцева? Точнее, по кому? Вероятно, по мужу.

– Хорошенькая идишке, – сказал маленький человечек в шляпе, подходя к ограде. – Нет лучше, как хорошая идишке. И что характерно, муж у нее гой. И даже, я вам скажу, с водкой. Я часто тут вижу его.

Черняк с неодобрением взглянул на коротышку в шляпе и подумал, что Она не одобрила бы этого человечка. Она сказала бы, что это лавочник и что он, вероятно, из украинских евреев.

– Здесь неплохо себя чувствуешь, – сказал человечек в шляпе. – Здесь все свои и никто тебя не обзовет.

– Они, – Черняк повел рукою вокруг, – уже нечувствительны к обиде.

Он отвернулся и пошел своей дорогой, думая о том, что Она не одобрила бы это знакомство и даже это общество. Он вспомнил, как однажды летом они приехали по рекомендации друзей в дачную местность под Даугавпилсом и увидели белье, развешанное среди сосен, заморенных и перекормленных еврейских детей, примусы, знакомый бедлам тамош-

ней, правда, не подмосковной, а латышской Малаховки... Черняк улыбнулся воспоминанию: Она не захотела оставаться там ни минуты – за три или четыре десятка лет московской жизни Она впитала русские предубеждения: избранный народ не был Ее возлюбленным народом. Это можно было бы назвать антисемитизмом, если бы в своей жизненной практике Она не была так непредвзято и беспрдельно добра ко всем – русским, цыганам, украинцам, евреям, армянам...

Черняк остановился у массивного камня над кем-то из клана Ломоносовых и огляделся. Востряковская осень была в разгаре, она ласкала глаз золотом листвы, белизной березовых стволов, обдавала нежным и грустным теплом, запахами прели... Черняк закинул голову, увидел разбавленно-синее небо в просветах золотой березы, хлебнул прохладного осеннего воздуха, густого, как вода, и тут заметил седого, подвижного человека в очках, смотревшего почти в ту же точку неба.

Они долго молчали. Потом седой сказал, не поворачивая головы к Черняку:

– В такие вот дни особенно обидно за них. Особенно грустно...

– Да, – согласился Черняк. – Но жалеет-то мы при этом себя. И думаем о себе, о том, что раньше или позже... А когда мы говорим, что они вот не разделяют с нами этого пиршества осени, то откуда эта уверенность? Откуда мы можем знать, что они видят и что разделяют? Откуда нам знать, что они завидуют нам и должны завидовать? Вообще? Всегда?

– Завидовать нам? – удивленно протянул мужчина в очках. – Это мы можем завидовать им.

Настала очередь Черняка удивляться, и он не замедлил выразить удивление такой странностью или такой степенью отчаяния.

– Ну как же! – сказал мужчина в очках. – Они прошли так или иначе свой путь, они здесь, у них нет выбора. Это не так уж мало. А я должен выбирать. Я должен покинуть все это. Или не покидать. Мое дело, мой долг подсказывают мне необходимость переменить место – вы понимаете меня? Это велит мой научный долг. И в конце концов, мой человеческий долг. Но здесь у меня родные могилы. Здесь, наконец, мое место. К тому же там я могу вдруг оказаться бессильным. Могу утратить интерес к своему предмету. Потому что самый предмет мой здесь. Эта страна. Эта культура. Этот язык, фольклор... Моя родина, место, где я родился... Земля, которая была так ко мне ласкова. Земля, вместе с которой голодал и мерз.

Черняк согласно кивнул:

– Да, это я узнаю... Кажется, что-то школьное.

– Ну что ж, это Маяковский... А что вы можете возразить на это?

– Не знаю... – Черняк пожал плечами. – Я вам не советчик. Я сам не знаю, на каком я свете. Но мне кажется, вы все усложняете. Вы придаете слишком большое значение и себе, и месту вашего существования, и вовсе уж незначительному факту – местонахождению вашего тела. Вы видели когда-нибудь мусульманское кладбище? Где-нибудь в кишлаке?

– Да, конечно... И монгольские тоже... И многие другие, на которых ничего нет – иногда один забор, иногда еще шест на какой-нибудь из тысячи забытых могил, да, да...

– В ваших речах много фетишизма, – сказал Черняк жестоко. – И много самовнушения. Кто вы такой? Одна из малых тварей Божиих. Проживите честно, разумно, милосердно. И не думайте о пустяках, о могилах, о долге, о месте в ряду или вне ряда...

– Я думаю об ушедших поколениях, – сказал Дробышев. – Ведь мы должны о них думать. Так же, как о поколениях грядущих, а может, и больше. Их много, тех, кто ушел, мы в долгу перед ними...

– Пожалуй... – Черняк покачал головой. – Но если преходящее славно, тем более славно пребывающее...

Дробышев настороженно поднял голову, и Черняк улыбнулся:

– Ну да, Новый Завет. Послание к коринфянам... Мне жаль вас. Попробуйте проще. Если вы сможете что-то сделать, переменив место, перемените его. Сделать что-то – это немало, на малый наш век... Ну, а если вы можете обойтись (мир и наука обойдутся, это я вам гарантирую), – плюньте на все, оставайтесь, но решитесь и живите спокойно. Сама перемена, задуманная вами, поверьте, ничтожна... Всех благ!

Черняк обернулся с дороги и увидел спину человека в очках, согбенную мукой. Может быть, величайшей из мук – мукой нерешительности. Черняк в задумчивости пошел к выходу и, поравнявшись с режиссерской могилой, увидел красивую молодую женщину, которую уже видел однажды на этой скамейке. На сей раз она стояла в нерешительности возле самой аллеи и вопросительно смотрела на Черняка, точно он мог разрешить ее сомнения. Он и вправду мог кое-что рассказать по поводу разора, царившего вокруг, и по поводу остатков огромного и безвкусного букета, уже пересортированного и общипанного бабой Лизой.

– Что это? – спросила женщина у Черняка, остановив его, как старого знакомого.

– Здесь было много людей, – сказал Черняк. – Я не подходил близко, но я видел...

– Что за люди? Черняк пожал плечами:

– Они были похожи на иностранцев.

– На каких иностранцев?

– Разных. На арабов. На французов. На английских хиппи. На австралийских бродяг. Они были в джинсах. В шубах. В рогоже, тулупах, куртках из болоньи – что еще?

– Это были они... – сказала женщина, брезгливо поджав губы. И вдруг повернулась к Черняку. – Как неприятно! Хотя как будто это должно было быть приятно. Но там была эта женщина...

– Да, женщина, – невольно кивнул Черняк и осекся.

– Что вы видели?

– Нет, нет, – испуганно сказал Черняк. – Я ничего не видел. Я ничего не хотел видеть. Я был в таком состоянии. Вы не обращайте внимания на меня...

Взгляд ее смягчился.

– Кто у вас? – спросила она.

– Мама...

Она сказала ему просто:

– Я буду здесь в воскресенье. Около трех. Не опаздывайте... Я буду ждать. До свидания.

– До свидания, – сказал Черняк и пошел к воротам.

* * *

Как ни странно, предстоящее свидание не окрылило его. Он опустился на скамью против конторы и почувствовал, что у него нет ни сил, ни желания идти дальше. «Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались...» Он с надеждой подумал, что его нет вообще. Первый же прохожий не заметит его, сядет на скамью, на то самое место, где он: так начнется его уход в незнаемое, невидимое. «Изнемогла от грехов моих сила моя...»

Бодрый, скользкоглазый человек вышел на крыльцо конторы.

– Вы ко мне, товарищ? – спросил он любезно.

– Нет... – резко ответил Черняк, с неудовольствием отметив, что его все-таки можно заметить. Впрочем, этот человек с неуловимым, скользким взглядом, наверное, замечает все.

– Что ж... тогда, пожалуй, и я пойду, – сказал бодрый человек и еще раз внимательно огладил Черняка взглядом. Потом он повернулся и пошел прочь, а Черняк испытал вдруг острый приступ тошноты. Он маялся, глядя на казенную клумбу, на малорослые цветы и

сорные травы, пытаюсь понять, что же было такого в этом бодром человеке, что пробудило в нем недвусмысленный позыв к рвоте.

«Тошная сила, – думал Черняк. – Нечистая сила. Это был нечистый...»

Однако современный человек, неистребимо в нем сидевший, искал варианты. Черняк припомнил вдруг, что такое же чувство испытал он однажды после вынужденной беседы с начкадрами на работе – то же чувство нечистоты от вторжения в область абсурдно-запретного, темного знания...

«Что же он, такой, здесь делает?» – подумал Черняк и вдруг успокоился, махнул рукой.

– Проверяет анкеты мертвых... Готовит на них наградной материал... Представление на тот свет... А я... А я – трахну жену режиссера. Усопшего режиссера – значит, вдову, это не так страшно... Не так страшно... – повторял он.

Но долгое пребывание в Вострякове научило его, что это так же страшно. Что это безразлично, живой человек или мертвый. Безразлично для его души... Черняк с удивлением вспомнил, что такое же вот нравственно-опустошающее раскрепощение пришло к нему после той самой беседы с начкадрами. Тогда он с легкостью, даже с каким-то облегчением своротил жену друга. Общение с тошной силой не проходит безнаказанно...

Черняк встал, пошел к остановке.

«Изнемогла от грехов моих сила моя...»

* * *

Ходорец окликнул Черняка просто так, от избытка служебной энергии – день у него нынче выдался деловой и приятный, он уже чувствовал здесь свою власть, и силу, и желание толково, с пользой работать на новом месте – с пользой для себя и людей, живых и мертвых, с пользой для дела, так чтоб дело приносило тебе пользу, потому что интересы личные и общественные у нас неразделимы, это Хоботков всегда говорил на планерке.

И день выдался Ходорцу интересный, хотя и нелегкий. Можно даже сказать, научный день, потому что с самого утра нагрянул какой-то профессор в мятом костюме, небритый, а может, и немывтый тоже. Он мялся все время и сморкался в платок и вдруг с ужасом взглядывал себе на ноги: точно он не мог вспомнить, надел он сегодня штаны или нет, и при этом еще картавил и шепелявил безбожно. Но документы у него были все действительные – профессор в Бауманском училище, МВТУ, куда и сам Ходорец поступал когда-то, но срезался. Да, воспоминаньице... Ходорец уже хотел завернуть его вместе с его Бауманским и с его этим делом (дела у них все те же: любимая двоюродная сестра Фаня отправилась на тот свет, но хочет лежать на Первом новоеврейском рядом с троюродным братом), однако тут вдруг вспомнил, что хоботковский потрох учится в Бауманском (если еще не выгнали – ну а если не выгнали, то, верно, уже выгоняют, тот еще подарок). Тут же при профессоре позвонил Хоботкову, а ему самому, мятому, сказал, что надо будет помогать одному очень своеобразному юноше (слово хорошее, доцент Прошин обронил). Ух, как он заметался, как забился этот мятый профессор, вроде бы он никогда ничем таким, ни за что, иначе пропадешь, столько, знаете, родни, а дело есть дело, однако у Ходорца разговор простой и душевный – любишь свою Фаню, люби и саночки возить, бывают у всех неприятные минуты, нам здесь приятно, что ли, постоянно находиться в атмосфере человеческого горя (это Ходорец услышал в понедельник от одной дамы и специально записал на календаре). В общем, мятый обещал, Хоботков был растроган заботой, просил звонить и заезжать (не пропала еще твоя Дания!), а здесь как раз пришел Культурный Еврей, Ходорец так его и запомнил, хотя у него фамилия была какая-то красивая – Маркшейдер или еще как-то, и бумажки его вполне определенно указывали, что он Семен Давыдыч такой-то из Филармонии, то ли из Госконцерта, но какое это имеет значение, если и так видно – Культурный Человек, хотя и еврей. Куль-

турный Еврей. Одет он был так, как вот сейчас в Копенгагене одеваются, в Бонне, а также в Канберре и Вашингтоне, притом как будто они специально для него моду выдумывают и на него шьют, так все ладно на нем сидит, уверенно и спокойно. И в душу он к тебе не лезет, небрежно так, между делом сказал, мол, понимает, что уже обрыдли, вероятно, все эти могильные вопросы, упомянул, что семья лауреата конкурса Ваняевского или Синяевского хочет сюда, но так сказал, как будто сам он не еврей и сам никогда не помрет и вообще этого не понимает, просто у старика лауреата допотопное еврейское семейство с их мелкой слабостью, а сам старик известен был всему миру, греб деньги лопатой, вот и все. Потом человек этот сразу перешел на культурные темы, в театрах сейчас, сами знаете, ничего приличного, искусство вырождается, совсем уже почти выродилось, однако если Владимир Иванович надумает с женой или кем угодно, то он немедленно пришлет билеты – можно Таганку, «Современник», Сатиру, «Ромэн», оперетту, но можно еще к Эфросу на Бронную, все рвутся, хотя если говорить между своими, то прав был старик Шекспир, много шуму из ничего, «Вишневый сад» весь происходит на кладбище, вряд ли вам захочется после трудовой недели... – И тонко так улыбнулся. Ходорец подхватил шутку и спросил:

– На еврейском, конечно?

– Нет, нет, – сказал Культурный. – Там другая Раневская. Не Фаина...

Ходорец тоже улыбнулся понимающе – даже если не все поймешь, а все равно приятно поговорить, что мы, ради одних денег, что ли, работаем, важна атмосфера жизни, даже и на диком еврейском кладбище один культурный человек всегда поймет другого. Но этот был не просто приятный и культурный человек, он был просто какой-то всемогущий и всезнающий (бывают же среди них такие, недаром, говорят, даже Гитлер держал одного для себя, или вот еще – Киссинджер), речь зашла о кино, он тут же вытащил пропуск на двоих в Дом кино на что-то новое, положил небрежно на стол, а билеты в театр обещал прислать с машиной в понедельник (кстати, как насчет машины, у них там подходит очередь, и можно сделать машину, очень удобно через Польшу, ГДР и дальше на своей машине, проезд ведь теперь безвизный, вы знаете), тут уж Ходорец не выдержал, признался, что он, собственно, тут временно, по пути в Данию (сказал и тут же сам поверил). В общем, если какие трудности, ради Бога, Владимир Иванович, вот вам телефон на визитной карточке, а это я напишу специально для вас, сугубо интимный...

Трудности? Какие трудности? Ходорец раскис и вдруг вспомнил, что бывают трудности, до черта трудностей – вон в прошлом году нагрянула из деревни жена родня, а квартира маленькая, хоть на шкафу их клади, так, поверите, хотел в гостиницу – никуда не ткнешься, говорить не хотят... Сказал и тут же пожалел – сразу тут и родня, и деревня, и жилищные условия, все поперло, другой мир. Но Семен Давыдыч все понял, культурный человек не бонтонничает, просто помогает, сказал, что гостиницу в любое время, а насчет квартиры надо действовать, под лежащий камень вода не течет, это можно сделать, есть у него Серафим Игнатьич, душа-человек, большой босс, с той недели можно начать хлопоты. А потом снова, с тактом, обаяние бесконечное, как будто и не еврей, перешел на искусство, на книги – книг теперь не издают, но бывает – есть свои продавщицы и свой завмаг на Кузнецком – всякая мелочь, «Анжелика» и так далее, пусть Владимир Иванович только заикнется...

После этого разговора Ходорец сидел разнеженный, как после первой рюмки в хорошей компании, и тут опять стук, но как будто уже знакомый, очень вежливый, но такой – где хочешь тебя достанет, так и есть, когда дверь открылась, Ходорец сразу вспомнил – доцент, у которого Цили свояченица, еще магнитофон заводить хотел на могилке, как у какого-то там в Африке, был такой любитель...

– У меня для вас интегесное сообщение. – Доцент Прошин улыбался Ходорцу из бороды ласково и лукаво. – Я говогил в СОДе, и намечаются интегесные мегопгиятия...

– Присаживайтесь, – сказал Ходорец и поймал себя на том, что ему хочется сказать «пгисаживайтесь».

– Я говогил с товагищем Кгупитько в Союзе обществ дгужбы, и он согласился со мной, что ваше кладбище должно вступить коллективным членом в Союз обществ...

– Как? Всем вместе? – спросил Ходорец, чувствуя, что почва опять уходит у него из-под ног, как и во время первого визита Прошина.

– Конечно. Это обычная пгоцедуга, – чисто фогмальная, но хагактер мегопгятий...

– Это что же, со всеми покойниками?

– Что вы, голубчик, фу, какая макабга... – Прошин светски замахал руками. – Коллектив. Все, так сказать, тгудовые похогонщики, гганильщики, все, так сказать, тгуженики подземных габот...

– Мы их не приравниваем, – сказал Ходорец. – Иначе много трудностей сразу по профсоюзной линии. Вредность и все такое. Они и так у нас здесь гребут лопатой.

– Нет, нет, я пгосто к тому, что междугагодное значение вашей гуманной деятельности... Я сказал товарищу Кгупитько...

– Это не Валерка ли Кругитько там, у них? – спросил Ходорец, отчаянно пытаясь нащупать какое-нибудь реальное звено в прошинской ахинеи.

– Да, возможно, Валегий Митгофанович Кгупитько... – сказал доцент. – Завотделом культгного...

– Он! – возбужденно сказал Ходорец. – Эва его куда кинуло. Он у нас всегда был чудак. «Науку и технику» читал. Вслух разные факты зачитывал. У него и кличка была «Доцент». Как у вас.

– Это пге-кгасно! – сказал доцент Прошин. – Мы могли бы наладить постоянный обмен делегациями. И вы должны ехать, Владимир Иванович. Пгежде всего Пгага – стагинное кладбище сгедневекового евгейского гетто. Мы должны быть готовы к любой пговокации, и только кгугозог, только обмен...

– В Прагу я, пожалуй, смогу... – задумчиво сказал Ходорец. – В Прагу это можно. Хотя это, конечно, не Копенгаген.

– Вам было бы интегесно и в Гегманию, стгану Хайне и Гете, в данном случае – Хайне, но и хгистианские фгитхоф тгинадцатого века могли бы вам многое...

– Вот именно, – сказал Ходорец. – Здесь много своей специфики. Это дело надо знать досконально, как мы его знаем, знать и любить, потому что многие еще думают, что это им тгяп-ляп, вроде искусства или кино. Нет, это дело большой тонкости, и на нем надо зубы съесть... А вы ко мне что хотели? По своей линии? Кажется, у вас Циля?

– Лично мне ничего не нужно! – со страстью сказал Прошин. – И как истинно гусский человек я вообще лично не заинтегесован... Вы можете подумать, что за стганность, но это именно так... Я стганный, гусский, интеллигентный человек, котогому все нужно и котогому для себя не нужно ничего. Люди удивляются – что нужно Пгошину, отчего он делает так много? Отчего этот пгофессог, так сказать, в каждой бочке затычка? Они не могут понять, что такова натуга гусского газночинца. Тгуд гади добга. Как Швайцег.

Ходорец терпеливо слушал, не веря ни единому слову.

– И все-таки, – сказал Ходорец в заключение. – Просите что угодно, Владимир Иванович. Вы этого заслужили.

– Ну уж тогда... – доцент Прошин мягко улыбнулся, уступая настоятельности директора. – Уж тогда тачку. Пгостую гусскую тачку...

– Вот это другое дело, – сказал озабоченно Ходорец, нажимая кнопку звонка. – А на что она вам, любопытно, понадобилась, тачка?

Вместо секретарши Ларисы, выбранной Ходорцом однажды на многолюдных русских похоронах, вошел красноносый вождь гранильщиков в своих драных штанах.

– Ты что здесь, Смурнов? – строго спросил Ходорец и обернулся к доценту. – Полюбуйтесь на коллективного члена, можно сказать...

– Лариску мы в магазин командировали, так что я за нее подежурил, Владимир Иванович.

– Тачка у вас найдется?

– А как же. У нас все найдется. – Смурнов мерзко подмигнул, но тут же попятился к двери под взглядом Ходорца.

– Мне это все годное и близкое, – сказал доцент, тепло глядя вслед Смурнову. – Я сам сильно пгивегжен физическому тгуду, и вот эти гуки пгофессога изготовили все в доме – от бюго до кгышки для, пгостите, унитаза. Вот вы спгосили, зачем тачка, пгавильно?

– Спросил... – согласился Ходорец.

– О-о, это целая тема... Дело в том, что свояченицу моей жены зовут Цецилия-Августа. Дома ее иногда звали Ава. А что такое «овво», или по другим источникам «обо»? Это священная насыпь камней у пгивегженцев ламаизма, и ведут ее следы, скогей всего, в гелигию бон... Иногда источники называют эти насыпи, эти тугы «обо», но пгавильно, по-монгольски, все же – «овво». Замечаете – Ава, ово, пегегласовка весьма тоже хагагтегная. И я подумал, что насыпать «овво»...

– Хорошо, сыпьте, – сказал Ходорец. – Только на чужие могилы не залезайте. В рамках, так сказать.

– Хагактегно, что нынешние «овво», кгоме камней, содегжат бутылки, пластмассовые иггушки, палки...

– Этого добра на Первом новоеврейском хватит, – сказал Ходорец, вставая с чувством легкого головокружения. – Понятно. Действуйте.

Доцент Прошин долго, с чувством жал ему руку.

– А Валерке Крупитько привет. Скажите, Володя вот на кладбище управляется. Видишь, как разбросало наших. Сильный был отдел. Ну, всех благ.

* * *

Северцев пришел на кладбище усталый, и его быстро разморило от традиционной чекушки. Люба смотрела с портрета строго, неодобрительно.

– Ну что уж ты так, милоч? – примирительно говорил Северцев. – С горных высот да в мою бездну? А где же снисхождение к падшим? Христос и грешница. Ты же христианка, Любаш. Ну да, ты была христианка. А потом буддистка. А потом уж иудаистка. А все равно – семижды семь надо прощать, потому что кто ж без греха?

Северцев поднял взгляд к портрету. Любовь Марковна смотрела неумолимо, так сказать, бескомпромиссно.

Северцев отвернулся. Потом снова взглянул на нее украдкой, насупился. Чертовски сегодня разморило. Только поэтому он не может поговорить с ней как с равной. Раз и навсегда. Ему есть что ей сказать. Да, есть. Напрасно они думают, что они угоднее Господу, любому господу, эти праведники, без единого пятнышка, эти безгрешные, много о себе возомнившие... Тьфу, мысль путается, не надо было пить... Нет, напротив, надо было как следует выпить, и тогда поговорить начистоту... Раз и навсегда...

– А вот и мы!

Северцев поднял голову и недоумевающе глядел на двух охломонов. Ну да, те самые, что приставали насчет решетки. А потом они еще вырвали у него из горла маленькую и поломали кайф. Но теперь не выйдет, господа хорошие, уже все, допил, так что добро пожаловать, добро дошли.

– Наше вам! – сказал тот, что помоложе, а старик вытащил из внутреннего кармана бутылку, сверкнувшую металлическим блеском. Северцев вынужден был признать, что это

была материализация столь тщательно скрываемой от самого себя и от Любы его так называемой задней мысли.

– Мы давеча у вас маленькую брали... – сказал старик. – Так мы не забыли. А только тут у нас, в востряковском магазине, нету маленьких. Так что мы уж вам принесли бутылочку, не обессудьте...

– Нет, нет! – сказал Северцев. – Ни за что! Ни за что! – И добавил, смягчась: – Только с вами. С вами, пожалуй.

– Оно, конечно, завсегда лучше в компании... – сказал старик, подстилая телогрейку рядом с Северцевым. Молодой, примостившись на соседнем камне («Хася и Миша Брук-Тельновские»), уже нарезал колбасу неровными кусками, напоминающими формой кремневое оружие неандертальца.

– Потому что мы же не для телесного удовольствия пьем, верно? – рассуждал старик. – А пьем для души. Душе, ей нужна душевность. Тоись общение. А которые говорят «нажрался» или даже говорят «накушался», то эти слепцы не понимают, для чего люди пьют и даже можно назвать вкушают...

Молодой очень ловко разлил по стаканам водку, так что старик, ни на минуту не прерывая своей речи, смог произнести тост:

– Со свиданьем в этом пока еще мире – и за упокой вашей сродственницы, кто бы она вам ни приходилась... Будем здоровы!

– Будем! – сказал Северцев.

Он выпил, оглядел увядающую золотую прелесть вечернего Вострякова. Душа его окончательно смягчилась, готова была слиться с душами других людей, а также со всемирной душой, растворенной в океане Вселенной. Перед лицом этой красоты, доброты и смягченности все теряло свой особый строгий смысл – рождения и смерти, возвышения и падения, успехи и неудачи – все растворялось в этом океане любви и братства. Мысль Северцева больше не слабела, не путалась, не блуждала бесцельно – она была острой как нож, она была всепроникающей, всеобъемлющей и всеприемлющей. Для нее не было границ или ограничений: она могла сейчас понять голод нищего и смертную муку миллионера, исступление аскета и сладкую истому окунающего руку в холодный поток на вершине жаркого полдня... Мысль его охватывала переплетение тропинок и дорог, сплетение путей, скрещение цивилизаций, однако в ней не было смятения и зависти, в его мысли, она различала свой путь на этих перепутьях. И ей смешна была ограниченность правоты, убежденность праведника, неприятье чужой веры и чужой маеты...

После второго стакана раскрепощенный дух Северцева вдруг взметнулся и призвал к бунту. Он прямо взглянул в суженные гневом Любины глаза и сказал, обращаясь к старику:

– Она не одобряет меня. Она не разрешила бы пить.

– Что ты, милоч... – Старик разлил им остатки «Кубанской», а молодой проворно извлек из сумки огромную бутылку того самого пойла, которое зовут по России то чернилами, то гнилушкой, то бормотухой, то червивкой, то отчего-то чимергесом, однако пьют неизменно и повсеместно. – Э-эх, что ты, милоч... Они все так.

– Нет, нет! – вскричал Северцев. – Она не как все. Она особо. Ей всегда была известна истина в последней инстанции. Каждый раз новая истина, но всегда главная, и притом в монопольном владении. Одна приемлемая истина, которой все должно подчиниться. И я скажу отчего. Моя теща... – Северцев понизил голос, как будто эта страшная теща могла скрываться где-то среди могил, могла вдруг откинуть плиту и выбраться из мирного убежища Брук-Тельновских или Писенсона. – Да, да, моя теща была комиссар. И тесть тоже был комиссар, но главное – теща. Она была из местечка. Она пришла к власти. И вот ей доверили истину. Всю истину, целиком. Это страшно, когда человек из местечка получает истину и может насаждать ее среди лишенцев...

– А она у тебя что, тоже по этой линии работала? – Старик обтер губы и опасливо кивнул на портрет Любы.

– Нет! Нет! – воскликнул Северцев. – Она наоборот. Нет, не наоборот. Как бы это объяснить? Она боролась с их истиной. Но свои она насаждала так же. Тем же способом. Тем же путем. И с тем же темпераментом. Она насаждала добро. И гуманность. И религию. Много религий. Все по очереди. И все тем же способом. Она была дочь комиссаров. Она была даже хуже, чем они. Она была непреклонна, и человек снова ничего не значил перед новой догмой. Живой человек, который был рядом, ничего не значил. В теории человек означал все, все для человека, но живой – он был задавлен...

Старик разлил вино по стаканам и снова с опаской покосился на Любин портрет.

– Бог с ней, – сказал он. – Царствие ей небесное. Чего было, то было...

– Но ведь это дух! Идея! Система! – вскричал Северцев. – Они живы. Они живут. Они давят. И с ними надо бороться!

– Ишь как она тебя... – вздохнул старик, разливая по стаканам остатки бормотухи.

– Да, да! – запальчиво продолжал Северцев. – Так нельзя с человеком, ибо его дух выходит здоровым из рук Творца. Ибо грех – то, что ведет к его духовному искривлению. А это искривление и есть зло. Рожден же человек целостным, нормальным, неповрежденным. Дух его доступен и гостеприимен, готов к благодарности и благоговению. И ничто не зло по природе, а по способу пользования делается злым. Это истинная правда, и этому учил Святой Мефодий...

Старик и молодой переглянулись, встали. Молодой швырнул бутылку и угодил в кучу мусора, возвышавшуюся на могиле прошинской свояченицы.

– Мы вот что, – сказал старик. – Попили чуток и пойдем. Оно выпить можно, – добавил он, извиняясь. – Попить можно и даже поломать что ни то. Даже и украсть можно. А эти разные рассуждения, за них не погладят. У нас вон и завклад новый прямо оттель прислан, откуда положено.

– Завклад? – оторопело спросил Северцев, опускаясь на землю рядом со скамейкой.

– Не завклад, а завклад, завкладбищем... – бормотал старик, запахиваясь и отходя за могилу Писенсона. – Побузили, и будет. Пошли, Валера...

– Наше вам, – сказал молодой и поспешил рысцой за старшим, но Северцев уже не слушал их. Он смотрел на Любу пылающим взглядом, смотрел с укором и вызовом.

– Так нельзя! – сказал он ей наконец. – Нельзя поломать человека, потому что он дитя Божие. Ведь ты изучала религии – разве Господь топчет так Свою тварь, разве Он топчет душу ее и тело? Напротив. Он хочет возжечь в груди ее свет, смягчить ее сердце. Пусть я изгаженная, грешная тварь, пусть я блудное детище Божие, но раз я удостоен Его любви, способен к очищению, значит, нельзя меня так... Нет, нет, ты была не права. Ты не права сейчас.

Голос Северцева дрогнул, слезы навернулись ему на глаза.

– Он не любит человеческого, греховного, но Он любит людей, каждого человека, а не какое-то там человечество...

Вера вышла из-за ограды Писенсона и подошла к Северцеву. Она давно уже была там, а после ухода Валеры с Гаврилычем подошла совсем близко и стояла не таясь. Теперь у нее больше не стало мочи смотреть на его муку. Она подошла и положила большую свою натруженную руку на его воспаленный лоб.

– Я прав? – спросил Северцев. – Скажите мне, я прав?

– А как же... – сказала Вера, помогая ему подняться и сесть на скамейку. – Хоть и русский Бог, хоть и еврейский, хоть и этот, который у татар, он нешто позволит так живую тварь мучить?

– Вот именно! – вскричал Северцев. – Вы правы. Вы совершенно правы. И это основа для экуменизма... Да ладно, пускай, Бог с ним, со всем, но это основа для человеческих отношений. И не смотри так! – Он обернулся вдруг к Любиному портрету. – Ты не успела меня раздавить, но много было раздавленных, и я видел их. Я видел, как они отрекались, ползали во прахе...

– Ото-то, полегонечку, помаленечку, – говорила Вера, выводя Северцева из ограды.

Дитя он, дитя и есть. Она это поняла еще в тот самый первый раз, когда увидела его на кладбище. Дитя обидеть грех. Она тогда чуть не набросилась на Валеру с Гаврилычем, а у них, вишь, все же есть совесть. Но эта – уу-у, змеюка... Вера с ненавистью обернулась на портрет черненькой женщины: какие все же бывают среди этих образованных, по лицу видно, все бы им верховодить, людей мучить себе на потеху.

– Ну, еще, еще немного... – приговаривала Вера.

Северцев шел сам, его только заносило временами в сторону, и тогда Вера направляла его, придерживая за талию, приговаривая нежно:

– Еще чуток, вот тут, миленький, вот тут, тут посуше...

Северцев устал, но по временам он еще продолжал свой спор с кем-то невидимым и очень упорным.

– Нет! – восклицал он. – Нет! Человек не ангел и не животное... И это несчастье его, что чем больше он стремится уподобиться ангелу, тем больше превращается в животное... И я порицаю тех... Нет, это Он порицает тех, кто взял себе за правило только восхвалять человека и кто только насмехается над ним. Я с теми... Ну да, это Он с ними, страдающий Паскаль... Он с теми, кто, тяжко стеля, пытается обрести истину... А этим... Которым известна вся истина. У них же правильный метод, у них все истины на все времена...

Вера жила недалеко от кладбища, в старом домике, который еще не снесли, но уже не ремонтировали, так что все здесь сладостно пахло запустением, древесной трухой, цветами, хлебом.

– Вот и дом, – сказала она, и Северцев подхватил ее фразу:

– Да, это дом. У него запах дома. Скоро подойдет бульдозер, и дома не будет. Будет бетонная клетка.

– Дадут. Как у всех, с удобствами дадут. Может, еще отдельную...

– Будут удобства. Как у всех, – сказал Северцев. – И вода. И все. Не будет запаха. И не будет дома. А может, и там? – Он вдруг с ужасом обернулся на кладбище. – Может, они и там построят что-нибудь многоэтажное, из стекла и бетона. Там будет говорить радио. Будут стенгазеты. Доска почета у входа. Отличные похоронщики. Могилы образцового содержания. Отличники заупокойной жизни. Дружина общественного заупокойствия...

– Вот сюда, – сказала Вера. – Садись, радио послушай. А я картошку поставлю, небось не ел ничего сегодня, вот тебя и взяло. А хошь, у меня еще есть маленькая...

Северцев умиленно рассматривал убогую обстановку ее комнатки и говорил что-то свое, временами непонятное, но доброжелательное:

– Ты хорошая. Очень хорошая. Ты не обидишь. И вот это – это все... Может быть, это гарантия... Может быть, мы сбережем частицу души... Но нет, и здесь, и в таком убожестве, кипят страсти... Глянь вокруг...

– Уж чего за день наслушаешься... А все же я так скажу, что вот ваш брат еврей больше по-человечески живет и пьет меньше, не по-скотски...

– Наш брат живет лучше, – сказал Северцев. – Наша сестра живет лучше. Наш небрат живет хуже и та, что нам не сестра. Которая хотя и не пьет, но живет по-скотски. Пасет не свою скотину. Узурпирует пастырские права. Она живет не по-людски, значит, живет по-скотски...

Вера поняла, что ему уже не нужна картошка и что даже маленькая будет сегодня лишней. Она бережно, как ребенка, раздела его, положила на высокую постель с железными пташками.

– А ты где?

– Да обо мне не думай, дом велик, что же я, не устроюсь? И на печи можно, и раскладушка есть, и сундук, ноги подберу, и все, а можно и в повети, еще не холодно...

– Ты здесь, – сказал он, засыпая, и ткнул в узкую полоску перины, остававшуюся незанятой. Раздевшись, она долго и осторожно укладывалась на узкую эту полосу, чтобы не потревожить его сон. И все же, когда она улеглась наконец и постель застонала, прогнулась под тяжестью ее тела, Северцев сполз к ее краю, в теплую вмятину. Столкнувшись с человеческим теплом мягкого, доброго ее тела и огромной груди, он застонал благодарно, обнял ее за шею, соединяясь с ней блаженно и полусонно, и она приняла его с умилением и нежностью. Потом он спал безмятежно, проваливаясь в бездумное, беззаботное тепло ночи, а она гладила его без конца, бесхитростно, неумышленно возвращая ему силу, возвращая его из сна, а когда он пробудился, наблюдала за ним снисходительно-благодарно и умиленно, как за ребенком. Он наконец проснулся окончательно и рассмеялся:

– Боже, как мало тебя это все тешит!

– Ляжь, как тебе удобнее, – сказала она. – Ты гладкий. Ты такой... Такой...

– Как мало тебя это веселит! – сказал он. – Все для меня. Но при этом никаких претензий. Безыскусная фригидность самоотречения. Никаких изобретений и никаких поисков. Лишь бы жалел. Лишь бы любил. Совсем другая система.

– Да уж, она небось другая была... – ревниво шепнула Вера и тут же испугалась: не надо бы про нее вспоминать, сейчас рассердится.

Но он только усмехнулся опять:

– Нет, она тоже ничего не могла. Она слишком много думала. И слишком много ждала. Она была абсолютно фригидна. И при этом – огромные сексуальные претензии, раздутое самомнение. И конечно, желание повелевать. Верховодить и здесь, как везде. Реализовать теории. Нелепые абстракции, не согретые жизнью тела... Ты лучше, в тысячу раз лучше как женщина, потому что... Потому что...

Слова его стали неразборчивы. Он снова уснул, она слушала его дыхание и говорила вполголоса, скорее себе, чем ему:

– Лучше-то лучше, а вот не любят таких дур... Других любят, которые умные... Которые за себя постоять могут... Которые мучают... За то, видать, и любят... А по мне, кажется, что и лучше, как добрый мужик...

Она разглядывала его усталое лицо, приглаживала его редющие светлые волосы. Иногда он улыбался во сне, и тогда она улыбалась тоже, не могла сдержать улыбку...

* * *

Черняк вышел из автобуса, перебежал шоссе. Старушки цветочницы шевельнулись у стены, но баба Лиза первой вышла на бровку дороги навстречу покупателю, и они отступились – перед ее проворством и перед ее правом давнего знакомства с Черняком.

– К матушке? – спросила она привычно и так же привычно добавила: – Вот и хорошо делаешь. Охо-хо, а нас кто помянет? Я тебе цветочков припасла. Вот эти...

– А эти вот?

– Эти не надо... – Она торопливо спрятала букет за спину. – А этот задешево отдаю...

Она была ласкова к нему и бескорытна. Черняк подумал, что букет, который она прячет за спиной, она только сегодня взяла с чьей-нибудь могилы и оттого не хочет продавать ему. Он был растроган, погладил ее по плечу:

– Все одно, баба Лиза. Давайте и тот и этот, матушка ни за что не рассердится...

Уборщица Вера улыбнулась ему у ворот. Востряково щедро осыпало золотую листву – на прелую землю, на холмики, на камни. Земля эта была к нему ласкова, и Черняк вспомнил Уезжающего Человека, понял его и от души пожалел.

– Боже, какая мука может выпасть...

Новая скамейка, врытая дядей Васей, была, конечно, старой и, вероятно, нынче только украденной в другом углу кладбища, но дядя Вася обстрогал ее, как новенькую, и Черняк оценил его старательность.

Он опустил на скамью, положил цветы на то место, где в свое время самолично зарыл чашечку с крематорским пеплом, привычно прочел Ее имя, отчужденное от тела, выбитое на холодном камне чужою рукой.

Тысячи их разговоров, откровений, касание Ее руки, бессловесное взаимное понимание между ними, тысячи Ее забот и нежных услуг, вечная тревога за него, за его друзей – что остается от всего этого? И вообще, зачем все это было? Зачем это бывает? И если уж от Нее... Если даже Она не может... Зачем тогда он? Уж он-то и вовсе... Зачем они все?

Тихо опадали листья, боль его смирялась.

По ветке бузины полз муравей. Черняк подумал о себе, об Уезжающем Человеке. Они были так же малы и ничтожны, как этот муравей, век их был так же краткосрочен. Неужели же так важно, по какой ветке бузины ползти муравью?

Он снова прочитал Ее имя. Он не знал и не хотел знать Ее пороков, но прелесть Ее была в том, что она не была святоша. Она радовалась жизни, малым ее подаркам и малым радостям. Непредвиденному обеду в столовой. Случайному сну после обеда. Компании его друзей, так часто собиравшейся у него: Она органически вписывалась в любую компанию, и недостаток образования, о котором Она не уставала твердить в письмах (как будто это не от себя оторвала Она для них это треклятое «образование»), никогда не мешал Ей понимать шутку, разбираться в тонкостях их семейных и производственных отношений. Она любила смеяться, не по-женски кокетливо, а по-мужски осмысленно, подхватывая шутку, передавая ее дальше, развивая. Боже, как он счастлив был, слыша Ее смех, видя минуты Ее беззаботности среди многих Ее забот, усугубленных вечным Долгом, Долгом Любви, Семейным, Материнским Долгом... Отпусти нам Долги Наша...

Ее удивительная, необычайная жизнь, прожитая для других, чему учит она? Чему научила эта жизнь его, самого близкого к Ней человека? Ну, а чему учат другие жизни, самая преходящность жизни и пребывание живых в этой обители ушедших? Человек, приходящий сюда, видит, как коротка жизнь, видит, что ждет его. «Чтобы страсти не ослепляли нас, будем вести себя так, будто нам отпущена неделя жизни», – говорил мудрый. Но как вести себя, не сказал. И вот люди слоняются близ чужих и родных могил, обитают здесь без пользы для души. Он сам, суетный блудник. Добрая баба Лиза, крадущая цветы на могилах. Дядя Вася, по десять раз продающий одни и те же плоды своих (а то и чужих) рук, чтобы напиться и забыть всю неделю жизни, чтобы вовсе ее не иметь...

Намаявшись и наплакавшись вдоволь у родной могилы (теперь уже и своей могилы тоже, потому что участок стал шире), Черняк встал, взглянул на часы. Три часа. Воскресенье. Женщина ждет его на скамейке близ режиссера-мужа. Он пойдет сейчас и утащит ее от могилы в суетный город, на блуд и суету. Он уйдет к ней, покинув Ту, которую всегда, с той самой поры, как почувствовал в себе беспокойство плоти, покидал ради женщин, достойных и недостойных, уличных потаскушек и Ею же для него отысканных, столь пристойных с виду невест...

* * *

Ходорец с каждым днем чувствовал себя все уверенней и вольготней на изрытой могилами востряковской почве. Живые здесь были такие же суматошные, как везде, однако, сравнивая этих людей с теми, с которыми он дружил раньше, хотя бы, например, за границей, Ходорец все же не мог не отметить, что сравнение было в пользу этих. Они были сговорчивей, щедрее и шире, они вспоминали время от времени, что на весь век не напасешься, не накапаешь, да и век-то твой – вот он, до ограды. Они значительно выигрывали в сравнении, скажем, с совслужащими где-нибудь в Нью-Йорке, которые собирались по возвращении на родину жить вечно и потому желали запастись всем необходимым для жизни на этот неопределенный срок...

В погожий день, греясь на солнышке посреди цветника, Ходорец думал о том, как все же много может сделать умный человек для усовершенствования своей жизни, если он постоянно будет думать об этом, не обременяя себя никакими нежизненными понятиями и требованиями. Вот он здесь всего три месяца, но оттого, что ему не нужно тут думать о выполнении плана, что сюда не ездит зря начальство и что здесь даже в ноябрьские праздники можно не вешать флагов (лишь бы не допускать какого-нибудь уж слишком явного бесчинства), он может подумать и о живых или, как выразился один посетитель, о своих ближних. А ближние – это прежде всего он сам, старая мыльница его жена и пизденыш Олег Владимирович, который уже челюсти вывернул от заграничной жвачки (есть она и тут, только поискать надо). Дальше – друзья, благодетель Хоботков и все наши живые соотечественники, которым совсем неплохо живется, во всяком случае на его, ходорцовском, фронте работ. Есть, конечно, отдельные участки отставания и недосмотра, за всем не углядишь. Но ведь не все сразу. Вон, например, бабка идет, вечно она здесь ошиивается, а в штате ее нет. Между тем она здесь как бы обитатель кладбища и хотя, конечно, уже знает его в лицо, а все же морду воротит, не здоровается, думает, если не здоровается, значит, ее нет, не видно.

– Вы, гражданка, да, вы... – Ходорец поманил бабку пальцем, а ей уж так хотелось съежиться, растаять, не заметить его знак – может, и правда, не ее зовут, какая же она гражданка...

– Вы, да, вы, вам касается, – сказал Ходорец вежливо и неумолимо.

Баба Лиза подошла, встала боком, прижимая к юбке пожухлые астры с обрывком красной ленточки. Ходорец смотрел на нее молча, и этот взгляд стоил большего, чем утомительный допрос. Он ей сразу дал понять, что ему все понятно и все известно, даже больше известно, чем она догадывается и может себе представить.

Потом наконец спросил строго и насмешливо:

– Вы, собственно, что у нас тут делаете? Та-ак... Вы всегда такая молчаливая?

– Я не у вас... – сказала баба Лиза. – Я сама по себе.

– Ясно. Кладбище само по себе, вы сами по себе. А цветы откуда?

– С мово огорода.

– Растут. Прямо с ленточкой. И надписи на них растут... Ясно... Вы сейчас зайдите в гранильный, к товарищу Смурнову, красноносый такой товарищ, в рваных брюках. Он вам все объяснит. И насчет дня шахтера, и насчет прочего, и как вам жить... Сколько у вас в день набегаёт?

– Когда и ничего.

– А когда чего?

– Рубля три наторгуешь, не больше.

– А когда больше – и все десять?

– Десять редко.

– Ясно. Это, знаете ли, оклад ответственного работника. Или трудящегося ГДР. А тут у нас все же не ГДР. И огород у вас есть? Та-ак. В общем, вы загляните к Смурнову, он человек умный, он вам посоветует... Иначе плохо дело...

– К Хведору, что ли? – спросила для верности баба Лиза, пятась боком и все еще пряча букет.

– Да, к нему, к Федор Савеличу... И вы, вот вы тоже, товарищ... Да, вы.

Дядя Вася хотел прикинуться совсем пьяненьким, но на Ходорца это не произвело должного впечатления.

– Вы у нас не в штате? – спросил Ходорец и покачал головой. – А жаль. Вы бы и вели обеспечение скамейками. Жалуются товарищи евреи, что скамейки у них кто-то вырывает. А мы бы вам поручили контроль...

– Я был в штате, – сказал дядя Вася. – Под сокращение попал. А я ведь еще в ту войну... Вернее, в коллективизацию...

– Вот видите. Такой человек, а я их жалобы слушаю, верю. Теперь я им скажу, что у нас на этом деле заслуженный человек, герой коллективизации... А то как же я им мог сказать, если вы ко мне даже не заходите. Нехорошо... худо...

Ходорец пожевал губами, и дяде Васе отчего-то вспомнилась белая стена Краснопресненской пересылки, где он отбывал по указу пятнадцать суток...

– Ладно... – сказал Ходорец. – Попробуем на первый раз... Учитывая героическое прошлое. Зайдите сейчас в гранильный к Смурнову, он что-нибудь придумает. В штат, конечно, вряд ли, но так, внештатно... Сколько у вас в день набегает? Рублей сорок?

– Бог с вами! – воскликнул дядя Вася со страстью. – Редко када пятнадцать...

– Ясно, – сказал Ходорец. – Оклад очень ответственного работника. Или даже трудящегося Франции. А там, как известно, квартплата выше, чем у нас. Зайдите сейчас к Смурнову...

Ходорец получал истинное удовольствие, глядя в дяди Васину понурую спину. Смурнов их всех организует... Сколько же их еще бродит тут, неучтенных хозяйственных единиц, настоящих народных талантов, самородков... А им для чего лишние деньги? Они же все равно пропьют. И где пропьют, главное, – здесь же под железной оградой. Без интереса. Без вкуса. Бессодержательно. Ходорец брезгливо дернул плечом и ушел в кабинет: солнце зашло за тучи, и Востряково враз стало неопрятным, серым...

* * *

Уход с кладбища был для Черняка всегда связан с ритуалом прощания – мимо черных семейных глыб клана Ломоносовых; за странную, преступившую все законы русского языка надпись на памятнике супругов Тунис; мимо каменного дерева с обпиленными сучьями и сундука-склепа раввина московской синагоги – прощай, прощай, мамочка, до встречи, пока...

Сегодня прощание закончилось раньше, чем обычно, потому что, едва выйдя на прямую аллею, на которой с недавних пор поселился молодой режиссер Хайнацкий, Черняк перестал думать о Вострякове. Он думал о прекрасной женщине Валентине, жене Хайнацкого, точнее, вдове Хайнацкого, впрочем, если пока приходит к нему, значит, еще жена. Но она пришла сегодня не к нему, не к мужу, и не по долгу жены, это стало ясно, как только на аллее послышались торопливые шаги Черняка, – она сразу встала и торопливо вышла из ограды, хотя знала, как красив будет ее профиль, склоненный над свежими астрами. Она вышла, потому что уже заждалась, потому что ей больше нечего было делать на могиле Сени Хайнацкого, не о чем думать, нечего вспоминать. И потому что ей не хотелось больше вспоминать, а хотелось наживать воспоминания. И хотя она знала, как женщина и актриса, что

лучше дожидаться в ограде, лучше очнуться из глубокой задумчивости и горя (какой же русский не видел картину Федотова «Вдовушка?»), она встала и пошла ему навстречу, вопреки всем правилам и соображениям. И она ничего не потеряла, потому что это был первый раз, и все, что она сделает в этот первый раз, будет удивительным, необычным, ни на что и ни на кого не похожим – она сама была сегодня не просто прекрасна, она была ни на кого не похожей. Но и этот молодой мужчина, с маниакальным упорством посещающий могилу своей матери, он тоже был ни на кого не похож, такой худой и нервный, волосы растрепаны, и глаза горят, по-настоящему горят, без системы Станиславского, без крика «Мотор!».

Первый раз! И все, как в первый раз, как будто никогда не бывало такого, и не бывало такой встречи, и не бывало таких людей: уже потом, на десятый раз, даже не разлюбив друг друга, они будут удивляться, почему они показались друг другу такими, совсем другими, не похожими на то, что есть, – и рост другой, и голос, и вкус рта, и глаза, и манеры... Потом придет другое (прежде, чем уйдет все), но этого, того, что в первый раз, больше не будет никогда. Он знал это наверняка, и оттого так дорог был для него первый раз, оттого так ценил он первый раз, так трепетал, зная, что во второй раз все будет иначе, чаще всего хуже, даже если будет прекрасно... И оттого жизнь его была бесконечная погоня за этим вот первым разом. И оттого был он неисправимый блудник, знал это и, стыдясь этого, не желал исправиться. И оттого новый роман его, начавшийся там, где он старался забыть о грехе своем, потому что Она, конечно же, не могла этого одобрить (впрочем, это началось впервые уже на обратном пути с кладбища, на пути к воротам, между могилой и воротами, он упорно подчеркивал в воспоминании этот факт) – новый роман его тоже был обречен на бесплодное завершение, как все предыдущие и все последующие, за исключением одного, навязанного Ею и осуществленного под Ее контролем, романа и брака, принесшего горький плод – дочурку со странным именем Вира (разве можно было позволить, чтобы современная девочка, пионерка, гуляла по свету с бабкиным именем Рива), с которой он жил в мучительной разлуке. Но сейчас – сейчас даже он, знавший наверняка, что это не может кончиться ничем, именно из-за мучительной сладости этого первого раза, – сейчас даже он не думал о будущем, не думал ни о чем, кроме того, что женщина идет ему навстречу, что она сама протянула руку и что рука эта дрожит слегка, что она горяча и легка и словно бесконечна...

Он не только не думал о будущем, он не думал больше о настоящем, о времени и о месте, в котором они находятся. В беспредельном эгоизме своей радости миновали они похоронную процессию на главной аллее, обошли по боковой дорожке гроб, досадуя на этих нелепых людей, которые надумали хоронить сегодня, сейчас, в такое время, когда они... Они видели заплаканную старуху, юношу с серым лицом, и ничто не задержало их, не напомнило им ничего...

А может быть, именно они и жили так, как будто жить им осталось всего неделю, может быть, именно их имел в виду мудрец, – во всяком случае, эти двое в нетерпении своем и святотатстве готовы были отстаивать именно такое прочтение знаменитого афоризма...

У ворот отпевали кого-то, но они не задержались у ворот. Более того, между воротами и новоприезжим гробом Черняк увидел застывшее в иступлении нерешительности и горя лицо человека, которого он называл про себя Уезжающий. У Черняка возникло тревожное предчувствие, на мгновение ему захотелось остановиться, но рука Валентины, словно вырываясь, дернулась вперед, к воротам, и тогда, чтобы уничтожить последние препятствия и последние сомнения, он перешел на бег, отметив при этом, что Валентина не отстает, что он не тянет ее за собой, что она бежит вровень с ним. Еще не покинув грустное обиталище своих близких с его собственной, приготовленной недавно могилой, они отчаянно замахали руками зеленому огоньку:

– Такси! Такси!

Будто в этом заключалась конечная цель и оправдание всего, будто в этом сосредоточился для них смысл того, что каждый из них понял за долгое пребывание в ограде Востряковского кладбища.

— Такси! Такси!

* * *

В воскресенье после обеда, оставив Аркашу с родителями жены, Северцев явился на кладбище, не имея в кармане даже обычной своей четвертинки. Он словно бы извинялся перед Любой за шум, учиненный им в прошлый раз, и за свое столь долгое отсутствие. Он извинился бы также перед Верой, потому что и ее он не видел все эти дни, однако Вера, все поняв и верно оценив, не появлялась близ могилы Северцевой...

Остаток прошлой недели Северцев провел в размышлении. Чутко прислушиваясь к себе и анализируя истоки своего бунта, он понял, что никуда ему от Любы не деться. Он был по природе своей не бунтарь, не богема, ему нужны были ограничения, а следовательно, нужна была именно такая вот тоталитарная Люба, продукт любви двух комиссаров сразу. И он понял также, что, продолжайся ее неограниченный гнет дальше, это привело бы к еще более безобразному бунту и, вероятно, к каким-нибудь трагическим последствиям. Однако теперь Люба и ее владычество были ограждены своей несколько метафизической формой существования, и, если говорить начистоту, самый этот гнет был несколько приглушен, смягчен и облагорожен кладбищенской атмосферой их взаимоотношений. В такой форме эти отношения могли продолжаться, и оставалось благословлять судьбу, что кризис не наступил раньше, при жизни его горячо обожавшей Любы: тогда обожание могло перейти в ненависть, а надежды на победу и освобождение не было все равно никакой (разве что Люба сочла бы его в конце концов объектом, недостойным угнетения). Другими словами, Северцев пришел к выводу (который он пока даже боялся открыто сформулировать), что то, что он считал своим величайшим горем, ни с чем не сравнимой трагедией, а именно смерть своей замечательной, горячо любимой жены, было, по существу, редкой удачей, позволившей ему сохранить привязанность и даже подчинение и тем не менее продолжать существование, не впадая в трагические крайности.

Что касается Веры, то его любовь к ней, точнее, к ее доброте могла существовать, сосуществовать с главным его браком, но не могла определять течения жизни, как определяла его зависимость от Любы (живой или мертвой). Если бы сейчас Вера подошла, он приласкал бы ее с той же благодарной доброжелательностью, которая была бы для нее и сладостна и унижительна. Догадываясь обо всем этом и безмерно ревнуя к бесчеловечной покойнице, Вера целое утро кружила неподалеку от Первого новоявского и время от времени наталкивалась на доцента Прошина, который проводил свой воскресный день за рукоделием, столь полезным для человека умственного труда (если, конечно, считать, что преподавание научного атеизма, которым зарабатывал на хлеб Прошин, является трудом умственным). Прошин в тот день добавил к мусорному «овво» несколько бутылок и банок, сменил батарейки в портативном магнитофоне и поставил кассету с музыкой Чайковского. Потом, побуждаемый обилием подручного материала, он решил соорудить дополнительное «овво» (по-русски «тур» или «куча») на другом краю могилы свояченицы и под танец маленьких лебедей бодро взялся за работу. За этим занятием и застала его Вера, к которой словоохотливый доцент неоднократно обращался со своими малопонятными объяснениями. Вот и сейчас, нисколько не приглушив магнитофон, дабы не лишать покойную Цецилию-Августу радости общения с Чайковским, Прошин стал рассказывать Вере о том, какие преобразования в стиле позднего тангутского царства он намеревается провести на этой могиле весной. И здесь Вера, издерганная любовными неудачами, осенним упадком заработка и картавой, невразумительной речью доцента,

а также зрелищем двух мусорных куч, оскорблявших ее врожденную чистоплотность и вкус, вдруг разразилась неожиданной для ее мягкого нрава и ее обычной почтительной робости злобной филиппикой против доцента и в защиту его неведомой свояченицы.

– Да что ж это вы над мертвяком изгиляетесь! – истерично крикнула Вера, чем привела доцента в полное изумление. – Что она вам худого-то сделала?

– Простите... – дрожащим голосом сказал доцент. – Но наша дгажайшая Циля была мне самым близким человеком после жены... И если хотите знать... – Доцент неожиданно и неуместно уронил слезу в бороду. – Если хотите знать, я любил ее гогаздо больше, чем жену, – это ни для кого не сектет... А если эти кгошечные знаки внимания, как бы сувенигы геминисценций...

– Мне чего это рассказывать, – не унималась Вера. – Я уборщица, я неученая, а только если хочешь помянуть, посиди тихо, выпей-закуси, убериись да цветов посади, а чего же тут буги-вуги устраивать, да мусорную свалку, да эти бумаги разные, как в воинской части, в красном уголке... Делать вам нечего, вот чего, а которые люди умеют это дело, без работы ходят...

– Еще никто не дегзал бгосить мне подобный упгек! – взвился доцент Прошин. – Я труженик! Пгежде всего тгуженик! Я задыхаюсь от габоты! Кафедга, пагтбю-

го, общество дгужбы, атеистическая пгопаганда, пгосветительная деятельность, наследие Анги Багбюса, общество охганы пгигоды и памятников, гецензигование, гедактигование, пгеподавание и пгочая, пгочая, пгочая...

Доцент вдруг снова уронил слезу на бороду, и Вере стало стыдно.

– Да вы не слушайте меня, – сказала она, прислушавшись к мажорному выходу лебедей, – чего я знаю... Я так. Судьба женская неустроенная, вот и настроение людям портишь. А у каждого свое.

– Доля ты гусская, долюшка женская, – прочел доцент и закончил, с торжеством подняв палец: – Вгяд ли тгуднее сыскать! Пгав был Некгасов!

И как бы в ответ на это восклицание неподалеку, за могилами, что-то резко щелкнуло. Вера вздрогнула.

– Никак выстрел, – сказала она.

– Может, мальчишки безобгазничают... – сказал доцент. – Это пгосто безобгазие...

Но Вера уже бежала туда, где щелкнуло так странно и страшно, а доцент поспешал за ней. Подбежав, она взвизгнула, пронзительно, испуганно, непривычно даже для этого грустного места, привыкшего к женскому визгу.

В ложбинке между оградами лежал прилично одетый человек лет пятидесяти. Кровь запеклась у него на лбу, а возле руки, прижатой к боку, виден был небольшой черный пистолет, предмет, знакомый всякому человеку по кинофильмам и телепередачам.

– Убился... Себя убил, сердешный, – сказала Вера, склоняясь над Дробышевым.

– Не тгогайте! – крикнул доцент. – Не надо тгогать до пгихода огганов.

Он хотел уйти, но стоял и смотрел, как зачарованный. Зрелище новой, свежей и к тому же насильственной смерти в этом обиталище мертвых было завораживающим.

– Я его знаю, – сказала Вера. – Он еще все хотел за границу уехать... Да вот, не могу, говорит, бросить отцовскую могилу. И еще что это он говорил, да – русский лес... матушку Русь, говорит, не могу бросить... Как это Галина Ненашева по радио поет – любите Россию...

– Эмиграция! – подтвердил доцент. – Стгашная вещь! «Покинешь меня – умгешь», – сказал знаменитый чешский писатель Плугагж.

– Да он вить не уехал, – сказала Вера. – Помер, и все. Видать, уж было немогогу. Работу ему там, видишь, предлагали хорошую. Я, говорит, ради работы и ради своей родины, а все же, видать, немогогу...

– Пойдите здесь, – решительно сказал доцент. – Погонтголигуйте. Я сообщу в дирекцию и в органы...

Сутулая фигура доцента удалялась среди кустов и оград.

– Все... – шептала Вера, заглядывая в открытые глаза Дробышева, которые тщетно пытались отразить осеннее золото востряковских берез. – Все. Отмаялся.

* * *

До Вострякова теперь доехать совсем просто – от станции метро «Юго-Западная». Можно, конечно, ехать от метро «Проспект Вернадского» или от станции Востряково Киевской железной дороги. Не менее удобно ехать от следующей станции – Солнечная, автобус от Солнечной на юго-запад отходит каждые пять минут, а то и чаще. Но быстрее всего, наверное, от «Юго-Западной», хоть и не намного, но быстрее. А кто же из горожан откажется сэкономить лишние четыре-пять минут?

Турпоход

Белый дворец стоял над морем, на крутом обрыве. Его стены были испещрены арабской вязью, узкие арки тянулись по всему фасаду, и над мавританским куполом маячил легкий минарет. Те же вязь, резьба и белая лепнина украшали интерьер, мешаясь там, еще более небрежно, с полдюжиной европейских стилей. В общем, это была типичная крымская «альгамбра» начала века, та самая, что на всю жизнь задает отдыхающей массе представление о прекрасном и древнем.

Зенкович вышел из автобуса, взглянул на дачную «альгамбру», построенную под занавес кем-то из великих князей, на тенистый двор, кипарисы, цветы, на синее море внизу под обрывом и признал, что это недурно. Очень и очень недурно. Может, чуток слишком картинно, но кипарисы-то все же настоящие. И магнолии настоящие. И тамариски настоящие, и горы. Да и дворец – в конце концов, сам хан не построил бы лучше, не смог бы построить лучше, не смог бы построить с большею восточной безвкусицей: вон стоит же Бахчисарай как образец этой неги и безвкусицы... Нет спору, чуток обрыдло, поскольку видишь эту роскошь на всех рекламах сберкассы («В сберкассе деньги накопила, путевку на курорт купила»), однако приятно после города, красиво, ничего не скажешь, даже сладостно... Отдых...

Зенкович приехал отдыхать. Врач сказал, что ему надо «отдыхать по-настоящему», не брать с собой никакой работы. Желательно даже не брать книг. И Зенкович растерялся. Куда ехать? Как? Зачем? На помощь неожиданно пришел школьный приятель, работавший где-то в военном ведомстве. Приятель сказал, что у вояк до черта разных санаториев и турбаз по всему берегу Крыма и Кавказа, так что можно будет в любой момент... Санаториев Зенкович пока не хотел, боялся, оставлял их напоследок, так что он остановил свой выбор на турбазе...

Он вдохнул запах моря, кипарисов, цветов, разогретого асфальта и решил, что да – он будет отдыхать, отдыхать.

Новичков срочно повели на обед, и столовая радовала глаз. На белоснежных ее стенах тоже была арабская вязь, на столах – чистые скатерти. Да и еда оказалась приятной. Во всяком случае, не такой мерзостной, как он ожидал. А чего можно ждать от столовой, он знал.

После обеда их распределили по комнатам. Зенкович был направлен в палату¹ 20, расположенную в самом большом и наиболее мавританском из старых корпусов. Двадцатая палата служила, наверное, в старину столовой или бальной залой. Даже трудно было сказать, для каких нужд использовал ее в те царственные времена великий князь, ибо ныне в ней стояли семнадцать коек, отделенные друг от друга полуметровым проходом и тумбочкой. Зенковичу отвели шестую койку слева, и он тяжело опустился на нее, все еще надеясь, что кто-нибудь окликнет его сейчас и скажет, что это была глупая шутка. Если хотите, казарменная шутка. Впрочем, других новичков это обилие коек, кажется, не смутило. Среди них уже шли разговоры о здешнем питании, о камере хранения, куда велели сдать все лишнее, а также все ценные вещи, и о каком-то продмаге, который закроется по случаю воскресенья то ли в шесть, то ли даже в четыре.

Чтоб отбить мерзкое воспоминание о казарме, Зенкович, грубо нарушая правило, улегся в ботинках на койку и стал глядеть в потолок, покрытый таинственными арабскими надписями. Аллах ведает, о чем они просили Его, эти надписи... Зенкович думал о том, что имущие классы прошлого подложили победившему пролетариату свинью в форме огромных квартир и дворцов с просторными залами. Ибо в огромные квартиры вселились огромные коллективы, создав единственный в своем роде земной ад, названный коммунальной квартирой. А во дворцы... Один Аллах ведал, что следовало делать с дворцами. Все-таки эти люди могли быть дальновиднее. Могли бы оставить нам в наследство жилища, поделенные

на малогабаритные ячейки. При их-то возможностях. Или они уже тогда мечтали о коммуне и коммуналках?

Зенкович взял плавки и пошел к морю. Море было синее и все сплошь состояло из соленой воды. На первый взгляд оно не отступило еще перед натиском. Оно оставалось неизблеваемым, хотя и зыбким, оплотом природы. Зато скалам все же пришлось обратиться к услугам прогресса. Здоровенные парни в тренировочных костюмах вбивали в скалу клинья арматуры и заливали ее бетоном, чтобы сделать скалы вечными. Видно было, что люди решили обособиться в Крыму навечно.

Справа и слева от пляжа, сверкая на солнце, водопадами низвергались в море какие-то неизвестные Зенковичу речки.

– Вон там – что за река? – спросил наш любознательный герой.

– Это не река, – сказал бронзовый матрос спасательной службы. – Это канализация. Там над нами по берегу санатории, тыщ на пятнадцать отдыхающих. Все жрут, а сюда идет... Ништяк. Все в море будет.

Плечистый мужчина вышел из воды, фыркая и отплевываясь. Зенкович невольно посторонился. Он смотрел теперь на море с особой взыскательностью. В зеленовато-синих валах Эвксинского Понта ему стали чудиться коричневые полутона.

Транзистор пел на пляже голосом Мулермана. На минарете громкоговоритель, точно муэдзин, ответил ему голосом Кобзона. Зенкович осознал, что вступает в счастливую страну Курортландию. Он был на радужном побережье профздравниц, шумных и разноголосых кузниц здоровья, в стране, которую лишь по какому-то недоразумению, а может, и по наитию ему удавалось обходить стороной всю сознательную жизнь. Теперь ему предстояло вырубить себе в этом веселом и яростном мире собственную экологическую нишу – или погибнуть. Он вдруг понял, как ему еще хочется жить, и отметил при этом, что отдых, вероятно, уже сыграл свою положительную роль, пробудив в нем эту неукротимую жажду жизни. Без этой жажды ему, например, ни за что было не одолеть бесчисленные ступени лестницы, выводившей из преисподней пляжа на крутобережье спальных корпусов.

Двадцатая палата больше, чем когда-либо, напоминала сейчас казарму в часы «личного времени». Разновозрастные мужчины в длинных трусах слонялись между койками, ища применения своей освобожденной энергии и трудовым навыкам. Зенкович надменно взглянул на неприкаянных обитателей комнаты, вздохнул, вспоминая запреты врача, и вытащил из сумки толстый французский роман. Однако уже вскоре он убедился, что его чувство превосходства лишено было всякой почвы. У этих людей, так потерянно бродивших среди коек по территории бывшей танцевальной залы, было великое спасительное средство, доступное и беспроегрышное, как воздух. Застигнутые врасплох досугом, они немедленно обратились к этому средству и уже предвкушали начало нового сабантуя. Ощущалось, что отдых этих людей с неизбежностью должен обратиться в непрерывное пиршество. Краем уха Зенкович слышал, что первая экспедиция, отправленная за водкой («и что-нибудь, чуть-чуть на закуску, какую-нибудь ерунду»), уже находилась в пути. Вторую снаряжали в дорогу.

Зенкович получил первое, пока еще не очень навязчивое, предложение «скинуться» и покинул палату. Нет, нет, герой наш не «брезговал», и ему не жаль было рубля. Беда его (и немалая) заключалась в том, что он был непьющий...

Скамья под обрывом была свободна. Море мирно плескалось внизу о натуральный кусок скалы, производя при этом белую и вполне натуральную пену. Под ногами у Зенковича цвело что-то пахучее и прекрасное. Приходили на память экзотические, хранимые втуне названия – гледичия, глициния, текома, крокус... По пляжу, внизу, под обрывом прошла женщина в желтом купальнике, вызвав в душе Зенковича неясное, почти возвышенное томление. Хотелось думать, что женщина эта неглупа, и красива, и недоступна. Праздные мечтанья Зенковича облеклись в форму диалога. Он мысленно вел разговор с незнакомой женщиной.

Она показалась ему простой, интеллигентной, глубокой. Не менее фантастической личностью был и второй участник диалога, воображаемый Зенкович, который был гораздо находчивей, сдержанней и остроумней реального. Последний с грустью отмечал этот разрыв, эти, как любят говорить редакторы, «ножницы»...

Смеркалось. За кипарисами вдруг грянула музыка. Играл какой-то вполне современный, вполне западный и вполне провинциальный оркестр. У не танцующего Зенковича сладко защемило сердце, точно он был десятиклассница, спешащая на зов танцплощадки по темной аллее горпарка. Танцы! Значит, нынче будут танцы, танцы-шманцы. Будет очень медленное танго, белое танго, и какая-нибудь застенчивая интеллигентная женщина, может, та самая, в желтом купальнике, пригласит Зенковича танцевать и скажет при этом что-нибудь тонкое, ироническое. Понимая всю ложность их дурацкого положения, а также необходимость преодолеть порог этих первых трех-четырех ничего не значащих фраз. Но потом они забудут эту первоначальную неловкость: они будут говорить так, словно они уже сто лет знакомы, потому что они люди одного уровня (конечно, она по-своему, по-женски выдерживает уровень, с нее в общем-то взятки гладки), точнее даже, одного круга, хотя какие в наше время могут быть круги... У них начнется такое вот ни к чему не обязывающее знакомство, которое поможет им преодолеть скучную процедуру, называемую отдыхом, а может – как знать? – внесет в их жизнь нечто новое и даже неизведанное, была же вот здесь неподалеку, в Ялте, какая-то инфантильная дама с собачкой... Таким мыслям, вполне на уровне музыки, он предавался в течение получаса, а разогрев себя до решимости, занес книгу в двадцатую палату, где стоял уже вполне вокзальный гам пьяных голосов, и отправился на танцы.

Увы, танцы редко оправдывают возлагаемые на них надежды. Битый час Зенкович простоял у стены, добросовестно притворяясь заинтересованным, с видом этакое этнографа, изучающего смесь шейка, рока, лезгинки и вятской топотуньи, которую с энтузиазмом демонстрировали местные подростки и молодые курортники. Тонкая, простая, интеллигентная женщина так и не пришла в тот вечер на танцы. Может, она еще просто не приехала в Крым. А может, она выбрала менее обжитой и более элитарный Восточный Крым, и где-нибудь на коктебельской набережной под эгидой Дома творчества письменников ей сейчас пудрил мозги более удачливый коллега Зенковича. Ни одно из этих предположений не облегчило участи Зенковича, которому предстояло несолоно хлебавши отправляться в свою двадцатую палату, так идеально оборудованную для веселия, что пессимистический основоположник оптимизма в поэзии только бы диву давался, получив здесь любую по счету койку. Веселие было в полном разгаре. Молодой громкоголосый мужчина, принявший немалую дозу чего-то крепкого, рассказывал, какие они откалывали хохмы у себя в Краснопролетарском офицерском городке в том памятный год, когда командиром полка был Петрущенко, а замполитом этот, как его, Дгацпхаев.

Зенкович лежал, крепко закрыв глаза, считал про себя до трех тысяч восьмисот сорока восьми и тщетно пытался уснуть. Потом, преодолев природную незлобивость, благоприобретенный гуманизм и обязательства патриота и воина запаса, пожелал скорейшей, мучительной смерти громкоголосому соседу, командиру Петрущенко, замполиту Дгацпхаеву и всему гарнизону Краснопролетарского городка...

Яркая лампа, горевшая прямо у него над головой, в конце концов все же погасла, голоса притомились, стали тише, и Зенкович начал уже засыпать, когда в ближайшем к нему углу вдруг вспыхнула шумная ссора. Спорили о том, с какого числа было введено звание прапорщиков, какая из легковых машин хуже и еще – кто сегодня сколько внес на водку. Не исключено, что именно последний вопрос лежал в основе других разногласий, однако спор в конце концов все же сосредоточился на машинах... Оставив тщетные попытки уснуть, Зенкович вышел во двор помочиться, покурить в одиночестве под кипарисом, наконец, просто отдохнуть от шума.

Вот тут, во дворе, на скамейке, он и встретил Надю. Это была она, та самая интеллигентная женщина, которую он тщетно звал весь вечер из мрака профздравницы. Правда, она была чуть моложе, чем он представлял себе, чуть ниже ростом и, пожалуй, даже чуть полнее, и все же она была ничуть не хуже, чем та абстрактная представительница лучшего пола, которую он намечтал за сегодняшний день над морем. Надя была тупоносенькая (что само по себе прекрасно), розовощекая и голубоглазая. Пожалуй, на более придиричивый и взыскательный взгляд, чем взгляд Зенковича (давно уже различавшего женские лица не по отдельности, а целыми группами и подгруппами), лицо ее было несколько грубоватым и даже простонародным для роли «незнакомой интеллигентки». Однако и на этот более взыскательный взгляд она все же выделялась в массе организованных туристок – то ли какой-то большей умытостью и ухоженностью, то ли спокойной, можно было бы даже сказать, привычной манерой носить джинсовый костюмчик (скорей всего, польский, но может статься, и из валютного магазина). Зенкович не мог бы точно определить, что стояло за этим ее отличием от других туристок. Может, дело было всего-навсего в том, что она купила путевку за полную стоимость, а не взяла ее после долгих пререканий за треть цены в местном. А может, и в том, что она была замужем...

Все разъяснилось, впрочем, в первые же пять минут разговора (а они просто не могли не разговориться, оставшись наедине, ночью, в пустом дворе, близ бубнящей стокоечной террасы).

– Так жарко! Просто не могу уснуть, не выкурив на ночь сигарету...

– Черт знает что! Столько народу у меня в палате. Семнадцать коек!

– А я люблю сидеть ночью среди кипарисов. Я мечтаю, мечтаю... Я вообще выдумщица...

– Воздух в помещении спертый, пахнет винищем, говорят Бог знает о чем, о каком-то Петрущенко.

– А я люблю отдыхать в деревне, у моей мамы, в Томилине, там такой воздух, такой воздух...

Надя окончила институт; она знала французский язык, второй, испанский, хуже; она была замужем и жила «в самой Москве»; она была родом из подмосковного Томила (остатки природы, остатки воздуха и подмосковный комплекс неполноценности, который приводит к неизбежному переселению – любой ценой – в близлежащую столицу)...

Зенковичу нетрудно было настроиться на нужный лад. Они поговорили немножко о чистом воздухе, об окрестностях Томила (танцплощадка в Малаховке, купание в Краскове – воробыю по эти, как их?), о преподавании языка в Морисе Торезе, который во времена Зенковича обзывали английской аббревиатурой – Эм-Джи-Пи-Ай-Ай. На этом этапе разговора Зенкович узнал еще одну подробность, может, самую существенную для объяснения ее отличий от путевочной массы: Надя работала с иностранцами. Где-то в системе обслуживания, не важно где, важно, что это был уже другой мир, куда ступала нога человека из не нашего мира («У меня в основном негры, арабы, все время норовят комплимент сделать или назначить свидание, а уж щедры, щедры, на Международный женский меньше чем на сто рублей никогда подарок не сделают, но, конечно, морально утомительно, все время на людях, надо себя в порядке держать, причесочка, то-се, все-все»).

Поговорили о предстоящей скуке («Может, нам языком заняться – вы мне испанский, я вам английский, для общения – французский». – «Ой, что вы, на работе уже надоело, так иногда хочется плюнуть на все и по-русски заговорить, а не плюнешь, не дома. Но заняться, все же, конечно, можно. Что б с пользой...»). Поговорили также о путешествиях и красотах Крыма («Я бывала только в Гурзуфе, в Никитском саду и в дегустационном зале: что за отвратительная манера давать вино без закуски»). Конечно, разговор их не вышел на уровень того диалога, полного полунамеков и недоговорок, который Зенкович с таким

блеском, за двоих, вел вчера на скамейке над морем, однако даже самому неукротимому из мечтателей раньше или позже приходится вносить в свои мечты поправки на реальность. И все же это ночное знакомство сулило некоторые вполне реальные морально-физические радости и могло хотя бы отчасти примирить Зенковича с тяжелыми коммунальными условиями обобществленной княжеской «альгамбры». Желая поднять предстоящее увлечение на самый высокий уровень, Зенкович удержался от низкого соблазна нынче же увести Надю на ничью территорию, скрытую от корпусов колючим кустарником. Набивая в собственных глазах цену предстоящему роману, он принял решение повременить. К тому же он слегка опасался диалога, которым чревата была сцена соблазнения («Что, сразу? Я никогда сразу... Ты плохо обо мне думаешь... Может, лучше завтра? Ну, завтра с утра. Ну, хорошо. Но не здесь же...» – «Ничего я плохого не подумаю, и зачем терять благодатные ночные часы? Наша жизнь короткая такая. И чем здесь плохо?»). К тому же надо признать, что дорога и тщетные попытки уснуть настолько утомили Зенковича, что он не ощутил еще настоящей необходимости...

Разошлись они далеко за полночь, пообещав друг другу дружить, победить скуку, заняться языками, пойти погулять по Царской тропе (более укромных мест в этой части Крыма Зенкович не мог припомнить), сходить в кино, в кафе «Ласточкино гнездо» и даже на танцы.

Двадцатая палата уже уgomонилась. Изредка вскрикивал во сне один из участников пира. По временам кто-нибудь проходил в туалет, гремя башмаками. Громкоголосый рассказчик хрипел, уткнувшись лицом в подушку. Может, ему снились суровый Петрущенко или начитанный Дгацпхаев...

Зенковичу тоже приснилась служба. Его вызвали в штаб полка и сообщили, что его увольнение в запас было ошибкой. Пусть он немножко послужит еще, самую малость. Это чепуха, сущая чепуха... Он-то знал, что это не чепуха, однако ему никак не удавалось объяснить им, что это вовсе не чепуха, точнее, для них чепуха, а для него – нет. Он мычал, маялся, он ждал пробуждения. Потом ему приснилась вольнонаемная машинистка из штаба полка. Она была, конечно, похожа на нынешнюю Надю, и она улыбалась ему многообещающе, однако явился черный, худой Дгацпхаев и, не стесняясь присутствием Зенковича, стал снимать с нее джинсовую юбочку...

Чьи-то ботинки прогрохали между койками совсем рядом и стихли вдали в туалете. Зенкович проснулся, увидел в окно синее южное небо, вспомнил сон, улыбнулся и решил, что доспать можно на пляже...

На пляже ему, впрочем, поспать не удалось. Сперва матрос не соглашался выдать лежак. Потом бодро заиграл баян, и на пляже началась физзарядка. Зенкович, в принципе считавший зарядку очень полезной для здоровья, вдруг вспомнил срочную службу и малодушно спрятался за скалу: в армии зарядка была одним из самых тяжелых наказаний божьих. В конце концов ему дали лежак, однако уснуть он так и не смог. Лежак оказался жестким, солнце еще не вышло из-за бетонированных скал, и на пляже было зябко. Зенкович начал восхождение вверх по лестнице, надеясь закончить его к завтраку.

Во время завтрака объявили, что тридцать шестая группа отправляется на экскурсию для осмотра «Ласточкина гнезда». В экскурсионном автобусе Зенкович увидел Надю. Она сидела рядом с худощавым инфантильным юношей и говорила ему что-то на ухо, интимно-безрадостно и сердито. Группа высадилась возле смотровой площадки. Над морем нависло свежоотреставрированное игрушечно-готическое «Ласточкино гнездо». Рядом с ним кроваво алели автоматы для газировки. Экскурсовод торжественно сообщил, что «Ласточкино гнездо» построено еще в конце прошлого века и находилось в аварийном состоянии до тех пор, пока бригада видных советских архитекторов и реставраторов... Экскурсовод так важничал, будто он демонстрировал им чудеса Софийского собора в Новгороде или Пизан-

скую башню. Он предложил подойти поближе для детального осмотра памятника. Отсчитывая ступени, Зенкович думал о том, что в древнем Крыму игрушечная архитектура периода дачного освоения Южного берега (в обиходе – ЮБК) в глазах курортника затмевает всю прочую «доисторическую» жизнь. Зенкович насчитал уже двести ступеней, когда его догнала Наденька. Призвав на помощь свою гордость, он не стал спрашивать, кто был мерзкий инфантильный юноша из авто-

буса. Надя заговорщицки коснулась его руки, капельки пота соблазнительно поблескивали на ее коротеньком носике, обещая привычное, но еще не наскучившее Зенковичу блаженство. Конечно же, она была в восторге от творения дачных архитекторов, и восторг ее еще увеличился, когда обнаружилось, что, подобно всем прочим шедеврам крымской архитектуры, «Ласточкино гнездо» служило также питейным заведением. Зенкович и Надя выпили омерзительно сладкий коктейль, от чего непьющий Зенкович сразу изловил свой кайф. Что до Наденьки, то она и без выпивки пребывала в счастливом возбуждении и без конца хватала Зенковича за руку, а во время бесконечно долгого подъема к шоссе вдруг обняла его сзади за талию.

Они строили планы на вечер: сперва они займутся французским, потом посидят в прибрежном кафе, а на закате пойдут гулять по Царской тропе (на это последнее мероприятие оба они возлагали особые надежды). В разгар беседы Зенкович заметил давешнего инфантильного юношу, который следил за ними издали, неудобно выворачивая голову. Зенкович спросил, кто этот юноша, из всех сил стараясь, чтобы вопрос его прозвучал как можно небрежнее. Она тоже отвечала небрежно:

– А-а, это? Мой муж.

– Как это... муж? – оторопело спросил Зенкович.

Наденька махнула рукой:

– Я как знала, не хотела вместе отдыхать ехать, но потом уж так получилось... Но он так себя здесь ведет, так ведет... что это вообще не имеет значения.

– Как он себя ведет? – с надеждой спросил Зенкович.

– В шахматы все время играет, вот как! – возмущенно сказала Наденька. Зенкович снова поймал на себе неприязненный взгляд Надиного мужа и сообщил, что все это ему неприятно. Надя принялась с жаром убеждать его, что он не прав, однако Зенкович остался при своем мнении. Он сказал себе, что ему, в сущности, жаль мужа, и это была чистая правда. Он испытывал смешанное чувство жалости к мужу и неловкости. Да, да, это было некрасиво и к тому же небезопасно.

– Может, вы разведены? – предположил Зенкович.

– Ах, мы только недавно записались... – сказала Надя со вздохом. – Но как это все оказалось не похоже... Я-то, наивная, думала... У него в семье какие-то все дипломаты, видные люди. Но все оказалось так не похоже...

Зенкович мог, конечно, догадаться, что было не похоже на что, она просто должна была его просветить. Брак был не похож на ее представление о браке. Дипломаты и видные люди жили по своим дипломатским недипломатическим правилам, не похожим на Надины представления о жизни высшего общества. При ближайшем рассмотрении общество этих людей оказалось ничуть не выше захолустного томилинского общества, а временами не дотягивало и до этого уровня. Что касается самого мальчика-мужа, то он, видимо, скоро заскучал и уже ничем больше не напоминал восторженного мальчика-поклонника, каким был до утраты своей постылой невинности.

Зенкович мог бы и сам догадаться обо всем, мог бы посочувствовать Наде, ее мужу и себе, неудачнику, однако он не мог не чувствовать, что просто не сможет продолжать этот многообещающий роман на глазах у мальчика-мужа... Трудно было объяснить все это Наде, однако Зенкович собрался с силами и все объяснил.

Когда он вернулся в свою двадцатую палату, там уже скидывались на новое торжество. Он со страхом стал ожидать ужина, после которого был обещан фильм, изготовленный в ГДР. Будущее казалось беспросветным. И вот тут постылое радио вдруг стало читать объявление о походе. Зенкович прислушался. Радист перечислил достопримечательности каньона, включавшие «дерево жизни», «источник молодости» и «остров любви». Кроме этих неизбежных туристических объектов маршрут включал также пещерный город Кармин-кале. Пещерных городов Зенкович еще не видел. Он с ранних лет любил ходить на экскурсии и в походы, однако на сей раз поход обещал ему также избавление от двадцатой палаты. Зенкович вскочил с койки и пошел искать старосту группы, которая должна идти в поход.

Староста был крупный и краснолицый полковник, встретивший Зенковича с неподдельным, хотя и слегка проспиртованным энтузиазмом.

– Первым тебя записываю. После себя! – закричал он. – Зинкович? Зен? Хай будет Зен... Та и пишем. Как группу наберу – устроим собрание... Слушай радио. Объявим.

* * *

Зенкович обошел в тот вечер пешком пяток прибрежных санаториев. Он взбирался по крутым лестницам, слушал среди черных зарослей крики массовиков-культурников, усиленные микрофонами, и любовные крики отдыхающих пар. Он так нагулялся, что даже расширенная попойка в двадцатой палате и новая серия воспоминаний о Петрущенке и замполите Дгацпхаеве не помешали ему уснуть. Засыпая, он думал, что, может быть, эти вот близкие к казарменным условия и есть один из методов лечения бессонницы... Проснулся он, впрочем, задолго до рассвета, когда верный питомец Дгацпхаева, громко рыгая и гремя ботинками, отправился в туалет. Лежа без сна в предрассветном сумраке, Зенкович успокаивал себя рассуждением, что, может, и этот опыт окажется ему в конечном счете полезен. Во всяком случае, это было нечто новое. А то можно и забыть, что еще существуют такие вот стокоечные покои для культурного, но беспокойного отдыха... Зенкович был неисправимый идеалист и оптимист, изъяснявшийся (иногда не замечая этого сам) на языке своего времени и отечественной прессы. Наблюдая, скажем, священнодействия кишлачного муллы, врачующего больного, сбор калыма, вручение взяток или тяготы сибирских строителей, живущих в вогончиках-балках, Зенкович приходил в прекраснодушное изумление и удивлялся, что «такое еще существует у нас, в наше время». При этом он не мог бы с точностью указать, что же, по его мнению, должно реально существовать «у нас» и «в наше время». Он не имел на этот счет никаких собственных догм...

Дождавшись восхода солнца, Зенкович ушел на пляж и там подремал еще час или два на жестком лежаке, с упоением думая о предстоящем походе. В полдень он отправился на первое собрание группы. Он с некоторым смущением увидел там Наденьку с мужем, а также молодого соседа по палате, которого привык называть про себя питомцем Дзацпхаева. Рядом с краснолицым, громогласным старостой сидел черномазый, спортивного вида юноша в фирменной маечке, с замысловатым черным ремнем, поддерживавшим болгарские джинсы, отороченные снизу самодельной бахромой. Это был инструктор группы, профессиональный мастер культурного отдыха и один из кузнецов той огромной кузницы здоровья, что протянулась ныне по всему берегу Крыма («Мы кузнецы, и дух наш молод – куем мы счастья ключи». Может, «счастья мечи». Не важно). Инструктор сказал, что его зовут Марат, просил любить себя и жаловать, другими словами, держался с ним запросто, ничем не подчеркивая свое исключительное, совершенно выдающееся место в этой группе мужчин и женщин. Конечно, призыв любить его и жаловать был проявлением излишней скромности или даже кокетства – кого же еще было им любить и жаловать, как не своего временного начальника, своего предводителя, руководителя и благодетеля, который к тому же оказался

таким веселым, молодым и остроумным (призыв любить и жаловать был встречен дружным смехом, свидетельствующим о том, что контакт с группой установлен). Это он уводил их с турбазы в неведомые, манящие дали...

Инструктор сказал, что завтра с утра они отправятся в автобусе на место своей первой дневки. Ах, дневки, ах, ночевки, до чего прекрасны эти полувойсковые слова! Он объяснил, что они должны собраться после завтрака одетые соответствующим образом и что он предоставляет слово старосте, у которого есть для них сообщение особой важности. Староста, многозначительно подмигнув, предложил им сдать по пятнадцать рублей на горячее, по три на дополнительную дорогу, по пять на фотографа и по четыре на культрасходы. Туристы с готовностью полезли в карман. Зенкович сделал это без особого энтузиазма, и его тоже можно понять. Во-первых, он не пил; во-вторых, он не предвидел никаких экстраординарных культурных нужд; в-третьих, он вовсе не хотел фотографироваться, а в-четвертых, он мог бы обойтись без дополнительного транспорта. Он отметил про себя также, что этот непредвиденный расход составит часть, и довольно большую, суммы, ассигнованной им на отдых. В то же время он не мог не отметить, что среди прочих туристов эти поборы не вызвали никакого смущения. Во-первых, большинство из них получило свои путевки бесплатно или почти бесплатно и теперь искало применения деньгам, ассигнованным ими на отдых и веселье. К тому же люди эти понимали, что большая часть их денег должна так или иначе уйти на пропой. А главное... Главное... Зенковичу пришло в голову, что его столь прекрасная, столь постоянная, в сущности, традиционная скорбь интеллигента по поводу народной скудости – это всего лишь благородная, но устаревшая эмоция. Интеллигенты давно уже сами переняли у народа эстафету скудости. Они не позволяли себе больше ни грандиозных попок, ни новейших автомашин, ни огромных телевизоров, похожих на окно дачного сотира, с «видиками». Представители низшего сословия давно уже могли бы дать интеллигенту на чай, и если порой забывали это сделать, то лишь по небрежности, по рассеянности или потому, что свято верили в пользу бесплатного просвещения и бесплатного здравоохранения... Отягченный этими размышлениями, Зенкович вынул из кармана двадцать семь рублей и со вздохом передал их мордастому старосте.

Миновав финансовый Рубикон (созвучие речки с рублем – результат чистой случайности, так как во времена Рима валюта была, как известно, совсем другая), Зенкович стал с нетерпением ждать отправления в поход. В предвкушении скорого отъезда все мелкие и даже часть крупных неудобств дворцового помещения (нельзя не упомянуть княжеский туалет на два очка, который вынужден был обслуживать широкую массу отдыхающих) стали казаться Зенковичу менее раздражающими и даже отчасти милыми. В последний вечер Зенкович посетил танцы на турбазе и, хотя он снова не достиг каких-нибудь результатов, все же провел время без особого унижения, потому что он больше не был чужим на турбазе: с ним здоровались девушки из его группы. А одна из них, по имени Шура, даже пригласила его на белый танец, и это было, конечно, целительно для мужского достоинства Зенковича, хотя и не спасло положения, так как Шура ему не особенно нравилась. Зенкович уже совсем было собрался уходить с площадки, когда откуда-то вдруг появилась Наденька и с ходу пригласила его на танец. Наденька рассказывала ему, какие закупки по алкогольной части производят мужчины их группы, готовясь к походу, какие чудеса обещает им показать инструктор (она звала его Маратик) и как все это будет интересно. Потом без всякого перехода она сказала Зенковичу, что он был не прав, потому что она так много, так много ожидала от брака, тем более что все эти люди казались ей такими видными и содержательными, но все оказалось ерунда и даже хуже, чем у ее мамы в Томилине, так что она с удовольствием ездит теперь домой в Томилино, просто настоящее спасение, а главное – сам Огрызков (именно такую фамилию носил ее инфантильный супруг) окончательно не оправдал надежд, потому что, казалось, такая страсть, ах, цветы, кино, то, се, колечко с настоящим рубином, а теперь

похоже, что ему приятнее играть в шахматы, тогда зачем было жениться – и ни о чем таком не говорит интересом, ночью тоже, повернется потом и уснет, разве это такой брак, о котором мечтают девушки?

Наденька терлась щекой о щеку Зенковича, и он все думал, из какого угла этой чертовой танцплощадки может следить за ними Огрызков своим неприятным и неприязненным взглядом. Вот если б знать наверняка, что Огрызков за ними не следит, и если просто назначить свидание в сумерках на Царской тропе... Нет, даже в этом идеальном случае мысль о том, что Огрызков стоит где-то внизу и шарит взглядом по склону Крымской яйлы, разыскивая неверную супругу, даже самая эта мысль помешает Зенковичу благополучно справиться со своей не вполне благовидной задачей. Зенкович уже собрался сказать Наденьке что-нибудь горестно-неопределенное и печально-романтическое, потому что она все-таки была очень мила, и синие пустынные ее глазки, и коротенький ее носик были совсем рядом с его носом, а щека – очень близко от его щеки. Так что он уже собрался сказать что-нибудь такое душераздирающее, когда отыскал наконец глазами тот самый угол, из которого следил за ними своим неприятным и на этот раз, пожалуй, даже агрессивным взглядом инфантильный юноша Огрызков... Зенкевич сказал Наденьке с неподдельным и решительным благородством и даже с некоторой торопливостью, что все это, к сожалению, невозможно, увы, никак невозможно для него как для джентльмена, во всяком случае, невозможно до той поры, пока они не вернуться в Москву, и вот, может быть, там, в городском многолюдье...

Наденька кивнула, закусила губку и сказала покорно-обиженно, что ей не остается ничего другого, как...

Чего другого ей не остается и что остается ей, он не понял, да и не та была сейчас ситуация, чтобы выяснять какие бы то ни было нюансы.

По окончании танца Зенкович энергично откланялся и ушел с площадки, размышляя о том, что, в сущности, даже и то не вполне удобно, что они отправляются в поход вместе. Вместе с ее мужем. Он решил впредь быть осторожнее и, успокоив себя таким образом, пошел спать в перенаселенный княжеский караван-сарай, с тем чтобы встретить завтрашний спортивный день со свежими силами. К его изумлению, в двадцатой палате было совсем тихо: вероятно, зачинщики веселья во главе с питомцем Краснопролетарского военного городка перебрались пьянствовать в другую палату... Так или иначе, Зенковичу удалось сразу уснуть, а проснулся он хотя и рано, но по собственной малой нужде, что было гораздо менее обидно и куда более естественно для свободной личности, привыкшей жить в эпоху развернутого кооперативного строительства, чем просыпаться от шума. Эту последнюю особенность своего быта рассудительный Зенкович обдумывал в ожидание первого вскрика утреннего радио. Он думал о том, что его так широко и бесшабашно кутившие соседи более, чем он сам, закалены условиями коммунального общежития, ибо даже самому расточительному из них покупка кооперативного жилья представилась бы непростительной роскошью. Они покупали автомашины, это правда, потому что ведь машины ни при каких условиях не могли дать им бесплатно. К тому же автомашина была предметом роскоши, доставлявшим удовольствие, а какое удовольствие можно получить от дорогостоящего жилья, за которое платишь сам?..

Голос радиста взорвался над койкой Зенковича и пожелал ему счастья в очередной день законного отдыха. Зенкович погрозил кулаком серебряному громкоговорителю, с торжеством припомнив, что сегодня он избавится от культурного обслуживания, а заодно и от архитектурного наследия великого князя: вольной птицей он будет бродить по горам; он будет спать в своем собственном, индивидуальном мешке; он будет слушать пение птиц вместо грамзаписей...

Сразу же после завтрака началась бестолковая предотъездная возня. Уложив в свой гигантский рюкзак одежду, консервы и спальный мешок, привязав к нему свех того палатку,

Зенкович уныло сидел в автобусе и думал о том, как мудро поступал всю жизнь, отказываясь от путевочных турпоездов, хотя бы даже заграничных (в последнем утверждении содержалась, конечно, с его стороны известная доля лукавства, ибо он подозревал, что в заграничную поездку его все-таки, наверное, не выпустят). Но все же представьте себе, чисто теоретически, дорогостоящие две недели, проведенные в автобусе, в ожидании, пока «соберется вся группа» или пока «староста найдет Петрову и Гришкина». Нервничать, смотреть на часы, а когда наконец появится распаренная Петрова и Гришкин, не успевший как следует застегнуть штаны, восклицать без тени юмора: «Подумать только – опять потеряли сорок минут! Надо совершенно не уважать группу, чтобы так...»

В роли Петровой и Гришкина выступили на сей раз Наденька с мужем и сам инструктор Марат. Они явились с часовым опозданием и заговорщицки сообщили, что все будут довольны, потому что им удалось достать «экстру», а это в здешней глуши не с каждым случается. Краснолицый староста и питомец Дгацпхаева покрыли это сообщение профессиональным «ура», и автобус тронулся под этот крик.

За окном побежали знаменитые крымские пейзажи, и Марат звучно прокашлял в микрофон. Для начала он мило пошутил по поводу своего голоса, который ему не удалось еще восстановить после трогательных проводов предыдущей группы, потом сообщил, что за окном автобуса – знаменитая здравница «Красный купол», в которой уже в первые тревожные дни советской власти отдыхали многие выдающиеся деятели революции, а позднее с успехом восстанавливали свое здоровье ныне покойные Морис Торез, Гарри Полит, Индира Ганди, Дзержинский и другие вожди рабочего класса. «Обратите внимание на ценную архитектуру...» – сказал Марат.

Зенкович обратил внимание и увидел ту же «альгамбру», только на сей раз она была зеленая и была полуприкрыта щитами «наглядной пропаганды». Вчерашняя Шурочка с танцев, специально занявшая для Зенковича место в углу автобуса, повернулась к нему и сказала:

– Правда, он симпатичный, Маратик? Все знает бесподобно. И что характерно, он сюда приехал недавно. Раньше он на бердянской турбазе работал.

Отыскав глазами Наденьку, Зенкович убедился, что она смотрит на рассказчика так же восторженно, как Шурочка, и, честно говоря, он испытал при этом легкий укол ревности. Зенкович понимал, конечно, что положение инструктора здесь совершенно особое и что оно сходно с положением автора научно-популярной брошюры, который просто обречен выслушивать похвалы своей эрудиции. В личности инструктора сосредоточились сейчас для туристов и сила руководства, и обаяние всемогущества, и знание этой прекрасной земли, куда он их вел. Он был абориген, хозяин всех этих красот, он знал о них все. Ревновать к нему было и неуместно и безнадежно, он был вне конкуренции. И все же, если учесть Надино положение... Отклонившись вправо, Зенкович отметил, что Людочка из Конотопа, сидящая на первом сиденье, возле шофера, тоже, без сомнения, недурна собой...

Потом автобус проехал Байдарские ворота, и Зенкович забыл обо всех этих более или менее прекрасных женщинах, ибо открывшийся ему пейзаж был безотносительно и бесспорно прекрасен. Кузницы и здравницы стали встречаться реже, к тому же они были закрытого типа, так что и людей, и домов, и крыш почти не было видно. К шоссе подступили нетронутый лес и горы, открылись синие дали просторных заливов. Мир становился все прекрасней, и стало уже ясно, что чем дальше, тем прекраснее он будет, а в конце концов их взглядам откроются «ванны молодости», «источники красоты», плоскогорья, каньоны, «древеса любви», долгожданный пещерный город Кармин-кале... Хорошо все-таки, что он записался в поход!

Голос Марата, небрежно путая падежи, рассказывал про церковь, возвышавшуюся справа, на неприступной скале. Если верить Марату (а выбора у них не было), построил ее

какой-то русский купец, чтобы умиловить своих богов за то, что он якобы чудом остался жить, то есть произошло якобы чудо, когда лошади внезапно понесли под гору, а купец остался жив, и вот по их обычаям, поклоняясь разным там христам...

Ясно было, что верования русского купца представляются Марату смутно-запутанными и неясными, точно культ воды, однако достойными гораздо большего осмеяния, чем вышеупомянутый культ. Зенкович спросил из своего угла, кому посвящен храм. Марат, не поняв вопроса, терпеливо объяснил, что купец этот молился разным там богам, христам и монахам, как и все бескультурное дореволюционное население России...

– Что мы все про грустное и непонятное! – воскликнула золотозубая женщина Маша из Днепропетровска. – Давайте лучше споем.

Зенкович давно уже заметил, что разговоры о духовном и непонятном вызывают в простом человеке томительное желание забыться, поплясать или выпить.

Машин призыв был поддержан старостой, который кричал сегодня особенно громко, наполняя автобус запахом винного перегара. Интимно наклонившись к Зенковичу при посадке, староста сообщил ему, что, как член закупочной комиссии, он вынужден был сегодня много раз пробовать. Кроме того, ему пришлось выпить, когда они прощались с ребятами из палаты. Стараясь не вдыхать запах, Зенкович мимикой выразил свое сочувствие старосте и отвернулся. Пробегали за окном Ласпи и Мухолатка, горы, леса, бухты, вызывавшие в душе Зенковича бесплодное волнение. Ему казалось, что когда-нибудь, в такой же вот, как этот, момент, он не выдержит непомерного груза красоты и умрет от разрыва сердца. Или вдруг напишет что-нибудь прекрасное. Нет, конечно, не равное этому всему, но хотя бы пытающееся приблизиться к красоте этого берега, к красоте Божьего мира... Однако шли годы, а Зенкович не написал ничего такого, но и не умирал, хотя сердце у него болело все чаще и чаще. Может, из-за этого вот бессилия...

Марат привычно разделил автобус на две соревнующиеся части и открыл певческое состязание. Марат был профессионал организованного отдыха и твердо знал, что человека, купившего путевку, нельзя бросать на произвол его собственных эмоций и природного веселья, иначе человек станет роптать. Идет ли массовый турист по райской долине или стоит на вершине горы, толпится ли он на танцплощадке или отдыхает после обеда, его надо охватывать оргусилиями, и тогда человек этот не будет жаловаться на скуку, на пренебрежение его отдыхом, на халтурную работу лиц, ответственных за его веселье. Певческое состязание началось в очень энергичном темпе со специфических туристических песен – одной русской («В огороде бабка, в огороде Любка...») и одной украинской («Ты ж мэнэ пидманула...»). Обе песни исполнялись не одну сотню раз за сезон и требовали от постороннего слушателя крепких нервов, мертвецкого равнодушия к искусству или полной глухоты. От исполнителя же требовались лишь энтузиазм и громкий голос (для того еще, чтобы перекрыть соперников). Зенкович, подстрекаемый нелюбовью к массовому пению и мелким интеллигентским индивидуализмом, хранил молчание, хотя Шура несколько раз оборачивалась к нему, улыбкой и взглядом призывая поддержать ее усилия, а староста даже стукнул Зенковича дружески по спине – мол, давай, мол, не подводи свою подгруппу...

Спели практически весь репертуар, накопленный членами коллектива за свою сознательную жизнь. Из темных недр памяти всплыли кровожадные песни тридцатых годов про то, как «на Дону и в Замостье тлеют белые кости», про винтовку, которая бьет по врагу метко, ловко и, конечно, безо всякой пощады. Были также исполнены поэтический шедевр Рудермана, воспевающий четырехколесную пулеметную тачанку, песни о мире, о великом друге и вожде, о девчонке с чудо-косой, о Бухенвальде, Маутхаузене, Освенциме, Треблинке, о сверкающем Баку, героической Москве, родном Севастополе, родном Симферополе, родном Мелитополе и, конечно, о родной Одессе, которая знала много горя, о сказочном городе у самого синего моря, в котором плыл и тонул... Сперва исполнялись высокооплачиваемые

шедевры песенной индустрии, а потом уж пошли, повалили как из рога изобилия совершенно бескорыстные поделки туристической субкультуры – о том, как в пещере каменной нашли бутылку рома, как через окно выбросили тетин чемоданчик и так далее и тому подобное – множество совершенно неведомых Зенковичу, но от этого не более интригующих шедевров.

Мы туристами родились,
Мы туристами помрем,
За туристов выйдем замуж,
Туристятки разведем...

Пели очень громко, очень бодро и ужасающе жизнерадостно (даже в тех местах, где погибал хороший парень, где горевала его мать или тлели белые кости). Пели с задором, с живинкой и с необъяснимым вызовом – кому-то неведомому, но враждебному, тому, кто не пел с нами или посмел бы усомниться в том, что нам, поющим, чертовски весело, что мы и есть неунывающий, насмешливый, туристический, ультрапатриотический народ...

Пение прекратилось только на стоянке, и Зенкович уже успел к этому времени четко сформулировать свою клятву: ездить только в компании глухонемых, должны же быть такие группы при Всероссийском обществе глухонемых, наверняка есть, – конечно, немые будут толкаться, жестикулировать, но уж петь – вряд ли...

В последнем на их пути населенном пункте староста внес в автобус десятилитровое ведро дешевого крепленого вина и объявил, что заготовки кончены. Хлопнув Зенковича по плечу, староста вручил ему ведро:

– На, друг, поддержи, километров пять осталось, а то я опять напробоваюсь... – Староста рыгнул.

– Может, поблюете на остановке, – мобилизовав весь свой гуманизм, предложил Зенкович, но староста с негодованием отверг его предложение:

– Я, друг, что б ты знал, – никогда не блюю... Рыгаю, это да. Потому что у меня кислотность. Мне можно только водку, а я сегодня, видел?

Автобус тронулся. Дешевый портвейн плескался в ведре, издавая мерзкий запах. По временам он своенравно выплескивался на брюки Зенковичу, и герой наш обреченно думал, что теперь уж он до конца похода будет пахнуть этим портвейном (в просторечье называемым «чернилами» или «бормотухой»), так как запасной пары брюк он с собой не взял, не желая перегружать рюкзак. Шура обернулась к Зенковичу и сказала сочувственно:

– Не люблю, когда мужчины сильно пьющие.

– Я тоже, – отозвался он сухо: ему не нравился ее рот. У нее были, в сущности, неплохой нос и неплохие глаза, но рот ее старил. Зенкович стал разыскивать глазами Люду, сидевшую впереди. В это время автобус тряхнуло, и новая порция портвейна пролилась Зенковичу на брюки.

Впрочем, староста не обманул, испытание это продолжалось недолго: они проехали километров пять проселком и остановились на лугу, где Марат объявил высадку десанта.

Зенкович с наслаждением прыгнул на твердую крымскую землю. Кругом поднимались горы, поросшие кизилом, шиповником и терном. Они манили прохладой и таинственными коридорами пещерного города Кармин-кале, до которого оставалось всего два-три километра.

Марат раздал топоры и послал туристов на заготовку леса. Он велел рубить только сухой лес, но вблизи кострища сушняк уже был вырублен, так что пришлось рубить все подряд. Зенкович тоже отправился в лес, горестно подсчитывая, на сколько дней, ночевки и маевки еще может хватить леса на склонах. Трудно объяснить, почему эта лесохозяйственная

проблема должна была волновать нашего героя. С неизбежностью возникает мысль, что он был все-таки немножко идеалист, а также чуточку гуманист самого что ни на есть беззубого, экологического толка. Не исключено, что именно национальные особенности побуждали его к этому постоянному беспокойству. Может, это же беспокойство толкало его сейчас вслед Люде. Зенкович еще не мог бы сказать наверняка, что ему нравится Люда. Просто она была лучше, чем Шура, а вслед за днем должен был наступить вечер, когда ощущать свое мужское достоинство бывает более тягостно, чем днем, а потом приходит ночь, когда оно становится просто обременительным.

Люда заметила усилия Зенковича и отнеслась к ним не то чтобы слишком благосклонно, но и без ярко выраженного протеста. Они еще не сказали друг другу и трех слов – просто собирали дрова, ели кизил и помогали друг другу взбираться на крутые склоны. Поддерживая Люду и отмечая ее приятную полноту, Зенкович думал о том, что поход в конце концов может оказаться весьма содержательным.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.